Н. М. Карамзин

БЕДНАЯ ЛИЗА



МИФ

Бедная Лиза

Николай Михайлович Карамзин

Аннотация
Николай Карамзин. Бедная Лиза
Бедная Лиза
Наталья, боярская дочь
Евгений и Юлия. Русская истинная повесть
Марфа-посадница, или покорение Новагорода.
Историческая повесть
Юлия
Над книгой работали

Аннотация

Героини повестей, собранных в этом издании, принадлежат к разным сословиям и даже эпохам, их судьбы совсем не похожи… Но кое-что их объединяет: способность к сопереживанию, открытость миру, вера в любовь. Создав образы Лизы, Марфы, Натальи, Н. М. Карамзин изменил курс русской литературы и показал читателям удивительный и сложный мир чувств, в котором нет места простым решениям.

Николай Карамзин
Бедная Лиза

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Печатается по изданиям:

Карамзин Н. М. Бедная Лиза; Марфа-посадница, или Покорение Новагорода // Русская проза XVIII века. М.: Художественная литература, 1971. С. 591–605, 617–656. (Библиотека всемирной литературы. Сер. 1. Т. 63).

Карамзин Н. М. Наталья, боярская дочь // Карамзин Н. М. Бедная Лиза: повести. М.: Дет. лит., 2010. С. 51–102. (Школьная библиотека).

Карамзин Н. М. Евгений и Юлия; Юлия // Русская сентиментальная повесть. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 89–94, 106–118.

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *

Бедная Лиза



Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах,

на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробовых камней, внимаю

глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся: там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдо-

вица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле — и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась

после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь: ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла Божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

— Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки.

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! — она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою.

— На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня

будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю.

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась.

— Ты продаешь их, девушка? — спросил он с улыбкою.

— Продаю, — отвечала она.

— А что тебе надобно?

— Пять копеек.

— Это слишком дешево. Вот тебе рубль.

Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.

— Для чего же?

— Мне не надобно лишнего.

— Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хо-

тел бы, чтоб ты рвала их только для меня.

Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку:

— Куда же ты пойдешь, девушка?

— Домой.

— А где дом твой?

Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось.

— Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек…

— Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос.

— Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти.

У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы; но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку.

— Никто не владей вами! — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни; но вдруг вскочила и закричала:

— Ах!..

Молодой незнакомец стоял под окном.

— Что с тобой сделалось? — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.

— Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела.

— Кого?

— Того господина, который купил у меня цветы.

Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать о нем ничего,

кроме хорошего.

— Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал, нет ли у тебя свежего молока?

Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб, принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил, и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием; но глаза его были — нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором.

— Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет

часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам.

Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти.

— Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин? — спросила старуха.

— Меня зовут Эрастом, — отвечал он.

— Эрастом, — сказала тихонько Лиза, — Эрастом! — Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его.

Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей:

— Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!

Все Лизино сердце затрепетало.

— Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами… — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии; имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало.

«Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере, на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна; но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило всё творение: рощи, кусточки оживились; птички вспорхнули и запели; цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. Между тем молодой пастух на берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор

свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое, — ах! — я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: “Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих; и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей”. Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою… Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум вёсел, взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась, ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку*… А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем, — не могла отнять у него руки́, — не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими… Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне

горящею!

— Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя! — И сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и… Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: *люби меня!* И два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может о ней беспокоиться. Надлежало расстаться.

— Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?

— Всегда, милая Лиза, всегда! — отвечал он.

— И ты можешь мне дать в этом клятву?

— Могу, любезная Лиза, могу!

— Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?

— Нельзя, нельзя, милая Лиза!

— Как я счастлива! И как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!

— Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать.

— Для чего же?

— Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое.

— Нельзя статься.

— Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова.

— Хорошо; надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее.

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию.

— Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали; никогда

солнце так светло не сияло; никогда цветы так приятно не пахли!

Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру.

— Ах, Лиза! — проговорила она. — Как все хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни; не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали.

А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на бере-

гу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины), — дубов, осеняющих глубокий, чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна сквозь зеленые ветви посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались, но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.

— Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: *люблю тебя, друг мой!*, когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, — ах! — тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме Эраста. Чудно́! Чудно́, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно; теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен.

Эраст восхищался своей пастушкой — так назы-

вал Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С откровением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства.

«Я буду жить с Лизою как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее.

— Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого.

Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости: о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею.

— Ах! Мы никогда не могли друг на друга нагля-

деться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!

Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели.

— Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?

— Ах, Эраст! Я плакала!

— О чем? Что такое!

— Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла.

— И ты соглашаешься?

— Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!

Эраст целовал Лизу; говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете; что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею нераз-

лучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю.

— Однако ж тебе нельзя быть моим мужем! — сказала Лиза с тихим вздохом.

— Почему же?

— Я крестьянка.

— Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу.

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их.

— Ах! Я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя… Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое? — Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. — Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!

Грозно шумела буря: дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним.

— Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!

— Будем, Лиза, будем! — отвечал он.

— Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем… Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся.

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы: одними ее любви исполненными взорами, одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог — а кто знает сердце

свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему:

— Прежде бывал ты веселее; прежде бывали мы покойнее и счастливее; и прежде я не так боялась потерять любовь твою!

Иногда, прощаясь с нею, он говорил ей:

— Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело. — И всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей:

— Любезная Лиза! Мне до́лжно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас

война; я в службе; полк мой идет в поход.

Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала; потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила:

— Тебе нельзя остаться?

— Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества.

— Ах! Когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить.

— Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза.

— Я умру, как скоро тебя не будет на свете.

— Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу.

— Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах! Для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!

— Нет, береги себя, Лиза; береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала.

— Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое.

— Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся.

— Буду, буду думать о ней! Ах! Если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав:

— Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне.

Старушка осыпала его благословениями.

— Дай Господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя

еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!

Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся, — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл

и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери, — тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» — от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву затем, чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему; но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях. Он побледнел, потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей:

— Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их (он положил ей деньги в карман) — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой.

Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге:

— Проводи эту девушку со двора.

Сердце мое обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо,

и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом деле был в армии; но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза, встала с помощию сей доброй женщины, благодарила ее и пошла, сама не зная куда.

«Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля

поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!»

Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала:

— Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые, — скажи ей, что Лиза против нее виновата; что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э… На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне; попроси, чтобы она меня простила, — Бог будет ее помощником — поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую; скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее; скажи, что я… — Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее; побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу,

но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там,* в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец: там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. Теперь, может быть, они уже примирились!

Наталья, боярская дочь



Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубей-

кам перед нынешними bonnets a la…[1] и всеми галло-альбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмого-надесять века. Таким образом (конечно, понятным для всех читателей), старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство… Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, — ты неудобна к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь

---

[1] Notes: 1

Чепчиками в виде… *(фр.) Здесь и далее примечания редактора, если не указано иное.*

ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем; итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, — возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет! Ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон… Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец, — о чудо! — являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества! Очи твои сияют, как солнцы; уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила, — ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я *сладкогремящие* слова твои: «Продолжай, любезный мой праправнук!» Так, я буду продолжать, буду; и, вооружась пером, мужественно начертаю историю *Натальи, боярской дочери*. Но преж-

де до́лжно мне отдохнуть; восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо — и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием!

В престольном граде славного Русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостию. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но) по моей совести; сей виноват по моей совести» — и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестью царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина,

а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве, а именно: в каждый двенадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных[2] людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако, вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и наконец веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со много-

---

[2] Notes: 2

В истине сего уверял меня не один старый человек. *Прим. авт.*

численным своим семейством — смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи — но доброму ли бояться сего густого непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным, хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей

старого боярина; но венцом его счастия и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской — в юной Наталье увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство Русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега — он все еще не вообразит белизны лица ее и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиитических уподоблений красоты и не один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того,

что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам до́лжно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную). По крайней мере, наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц, — одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля» — во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, — не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере, я так думаю и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры; взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя блестящую росу; взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом

отдалении и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои, — поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились: так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и, проницая сквозь черные пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность,

стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама! — говорила Наталья. — Скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водой, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу (чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек), отправлялись к обедне. «Всякий день?» — спросит читатель. Конечно, — таков был в старину обычай — и разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности. Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась Богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей?

После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель! Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни, по крайней мере, как любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясмином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это — мой цветок; я посадил его и вырастил!» — вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она — моя!» После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются *Красные ворота* с трубящею Славою. Наталья рвала цветы,

любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна и принималась снова за рукоделье. Наступал вечер — новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц; он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, пи в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы: играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покой-

ным сном, которым всегда юная невинность наслаждается.

Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленела, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула — вздохнула в другой и в третий раз — посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке), — опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, потом и в левом — и обе выкатились, — одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась — чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе

своей; все казалось ей не так, все неловко; она встала и опять села, наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторыми *набожными оговорками*[3] бранить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала, что и как в некоторые лета начинается у нежных дочерей боярских; не знала… Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают), — может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между злачных цветущих бережков; что ж сделалось с нею?

[3] Notes: 3

Например, «прости господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек. *Прим. авт.*

Скромная муза, поведай!.. С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце *потребность любить, любить, любить!!!* Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьмнадцатилетней девушки.

С сего времени Наталья во многом переменилась: стала не так жива, не так резва, иногда задумывалась, и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, — берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых смешанных темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например, часто казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ,

прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. Так, красавицы, ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она как уединенная река в пустыне, — а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше

желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное, — а где найти его, где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной дружбе, но что найдете — или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном, — найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша со светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее. Родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежною заботливостью о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его неможет, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями,

нежели с людьми русскими, и прослыла если не чародейкою, то по крайней мере велемудрою старушкою, искусною в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.

Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и, между тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила, и Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила глаза свои к левому крылосу[4] — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих

---

[4] Notes: 4
Крылос (прост. от клирос) — место в церкви для певчих.

людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека, — и потому она смотрела на него как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедшей в себя после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак, — думала Наталья, — итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек — такой прелестный юноша?.. Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у него как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально — даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, — хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго не называют именем и что Наталья в сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей: «Пойдем, барышня; все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места, для того что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами; тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям, а за нею молодой человек — она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад; незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно.

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не пе-

чальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который наконец узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюбленных, — ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? — скажет читатель. — Увидев в первый раз и не слыхав от него ни слова?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходило самое дело, — не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке), Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала — взглянула на окончины, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожа-

щим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли это для стыдливой девушки? «Я говорю о том, — продолжала Наталья, — о том, который… который был всех лучше». Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними. «Я не приметила его», — холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить!

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было, на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий, — думала она, — жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру — и ты не выронишь ни слезки на гробе

злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая, самая пламеннейшая из страстей родится всегда с горестию, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно?

На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек — не он! Вошел другой — не он! Третий, четвертый — все не он! Вошел пятый — и все жилки затрепетали в Наталье: это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что

она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одною блаженною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальею, которая поглядывала на него и через правое и через левое плечо свое. Чудно́е дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнакомец!» Калитка хлопнула, и Наталье послышалось, что молодой человек вздохнул; по крайней мере она сама вздохнула. Старушка няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его

и желала барышне своей такого супруга. Наталья радовалась, краснела, задумывалась, отвечала: «Да!», «Нет!» — и сама не знала, что отвечала.

На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали, — возвращались домой и у ворот говорили нежным взором: «Прости!» Но сердце красной девушки есть удивительная вещь: чем оно довольно ныне, тем недовольно завтра — все более и более, и желаниям конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его; ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и проч. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба! Ужели ты не сжалишься над нею? Ужели захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? Посмотрим, что будет.

Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась, — вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. «Няня! — сказала она слабым голосом. — Кто это?»

Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон.

«Он здесь! Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему… Ах, боже мой! Что будет?» — думала Наталья, смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в сени. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говорила ей: «Останься!» Красавица повиновалась сему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня — взглянула на барышню, улыбнулась и — не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала: «Что, няня? Что?» Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением, долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?» — «Болен? Чем?» — спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень болен, — продолжала няня, — у него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен как полотно и насилу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту

болезнь, и для того он прибрел ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтоб я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость!» — «Что же, няня? Дала ли ты ему лекарство?» — «Нет, я велела подождать». — «Подождать? Где?» — «В наших сенях». — «Можно ли? Там превеликий холод; со всех сторон несет, а он болен!» — «Что ж мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти; куда ж его вести, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня; он человек честный, станет за тебя Богу молиться и никогда не забудет твоей милости. Теперь же батюшки нет дома, сумерки, темно — никто не увидит, и беды никакой нет: ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек! Как думаешь, сударыня?» Наталья (не знаю отчего) дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей: «Я думаю… как хочешь… ты лучше моего знаешь». Тут няня отворила дверь — и молодой человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись; белые руки повисли, и голова приклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку, в другой, в третий

раз, осмелился поцеловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин! Барин! Помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе; и в тех и в других изображались пламенные чувства, любовию кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить — не языком романов, но языком истинной чувствительности; сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее, полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала; только сердце и взоры говорили — но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете или шумящая Москва-река будет гробом моим». — «Ах, барышня! — сказала жалостливая няня. — Отвечай скорее, что он тебе нравен! Ужели захочешь погубить его душу?» — «Ты мил сердцу моему, —

произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. — Дай Бог, — примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца, — дай Бог, чтоб я была столько же мила тебе!» Они обняли друг друга; казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею описывать ее, но она была трогательна — сама старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре, но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальином тереме.

После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» — сказала Наталья нежным голосом, приклонив голову свою к его плечу. «Ах! Я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья![5] — отвечал он. — Оно еще не совер-

[5] Notes: 5

Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древний колорит. *Прим. авт.*

шенно уверено в своем счастии». — «Что же ему надобно?» — спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование». — «Скажи, скажи, что такое? Исполню, все сделаю, что велишь мне!» — «В нынешнюю ночь, когда зайдет месяц, — в то время, как поют первые петухи, — я приеду в санях к вашим воротам, ты должна ко мне выйти и ехать со мною — вот чего от тебя требую!» — «Ехать? В нынешнюю ночь? Куда?» — «Спервa в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу». — «Как? Без ведома отца моего? Без его благословения?» — «Без его ведома, без его благословения, или я погиб!» — «Боже мой!.. Сердце у меня замерло. Уехать тихонько из дому родительского? Что же будет с батюшкою? Он умрет с горя, и на душе моей останется страшный грех. Милый друг! Для чего нам не броситься к ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь». — «Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узна́ют». — «Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей?.. Боже мой! Как люди злы, если ты говоришь правду! Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут?» —

«Алексеем». — «Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают?» — «Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная, милая Наталья! Время проходит, мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, — чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погибшею, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь: жизни моей или смерти?» При сих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенными глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь? — сказала она с чувствительностью. — Разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня, очень, очень любит (тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна за другою капали из глаз ее), — тебя знаю недавно, а люблю еще больше: как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» — и скрылся, как молния. Старушка няня проводила его со двора.

Вместе с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась бежать с ним из родительского дому, не зная куда, поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собственным речам его, можно было счесть подозрительным, а что всего более — оставить доброго, чувствительного, нежного отца… Но такова ужасная любовь! Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека! И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот счастлив! Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью, иначе последняя признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас в сей печальной истине.

Что принадлежит до няни, то молодой человек (после того как он увидел Наталью в церкви) нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы! Люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла то, что она более сорока лет слу-

жила беспорочно и верно в доме боярина Матвея, забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности.

Наталья, по уходе своего любовника, стояла несколько минут неподвижно; на лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но не сомнения, не колеблемости, — ибо она уже решилась! И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее: «Что ты делаешь, безрассудная?» — но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю!»

Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена, по самому закону, должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть? — прервала Наталья, вслушавшись в последние слова. — Нет! Я буду помнить моего родителя, буду всякий день о нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным, — не так ли, няня?» — «Конечно, барышня! — отвечала старушка. — А что он сказал, то будет». — «Верно, будет!» — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее.

Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась — Наталья думала не обо сне, а о милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе — месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей неприятен; теперь думала красавица: «Как медленно катишься ты по круглому небу? Зайди скорее, месяц светлый! Он, он приедет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась — уже часть ее зашла за круг земной — мрак в воздухе сгустился — петухи запели — месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня! Беги, беги скорее; он приехал!» Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю», — сказал он, показав бумагу. «Письмо к моему родителю? Ах! Прочти его! Я хочу слышать, что ты написал». Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки: «Я люблю милую дочь твою боле всего на свете — ты не согласился бы отдать ее за меня — она едет со мною — прости нас! Любовь всего сильнее — может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья

взяла письмо и, хотя не умела читать, однако же смотрела на него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши, — сказала она, — напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться и что эта бумага мокра от слез моих; напиши, что я не вольна сама в себе и чтобы он или забыл, или простил меня».

Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу, написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись Богу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покойная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца, со двора, взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала: «Вези меня куда хочешь!» Кучер ударил по лошадям — и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчастную!» Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню, которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, посадили старушку, снова поскакали и через четверть часа выехали из Москвы. На правой стороне дороги,

вдали, светился огонек; туда поворотили, и Наталья увидела деревянную, низенькую церковь, занесенную снегом. Алексей (читатель не забыл имени молодого человека) — Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного одною маленькою, слабо горящею лампадою. Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети! Внук мой уже заснул». Он разбудил мальчика, в углу церкви спавшего, поставил любовников перед налой[6] и начал их венчать. Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, который шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья молились усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и не спрашиваю, кто вы, но именем великого Бога, которого нам и мрак ночи, и шум бури проповедует (в сие мгновение страшно зашумел ветер), — именем непостижимого, ужасного для злых, для добрых милосердного, обещаю

[6] Notes: 6

Устар. от аналой — высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы или книги.

вам благоденствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга, ибо любовь супружеская есть любовь святая, Божеству приятная, и кто соблюдает ее в чистом сердце — в нечистом же она жить не может, — тот приятен Всевышнему. Грядите с миром и помните слова мои!» Новобрачные приняли благословение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг друга, вышли из церкви и поехали.

Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели как молния — ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались в глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных; сани двигались медленно,

и наконец Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него: «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя, на вершины дерев, и сказал, что жилище его недалеко. В самом деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках.

Старушка няня, видя сие дикое, уединенное жилище посреди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, всплеснула руками и закричала: «Ахти! Мы погибли! Мы в руках у разбойников!»

Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей: прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте под секирою правосудия, в глазах несчастного родителя; мог бы представить все сие вероятным, естественным, и чувствительный человек пролил бы слезы го-

рести и скорби — но в таком случае я удалился бы от исторической истины, на которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет! На сей раз побереги слезы свои, успокойся: старушка няня ошиблась — Наталья не у разбойников!

Наталья не у разбойников!.. Но кто же сей таинственный молодой человек, или, говоря языком оссианским, *сын опасности и мрака,* живущий во глубине лесов? Прошу читать далее.

Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полною доверенностью к любимцу души своей, спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей — не бойся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться!

Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь живут люди мои, — сказал Алексей, указывая направо, — а здесь — я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед иконою Богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и,

взглянув умильно на Алексея, низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на прелестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастие имеют также слезы свои…

Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может быть злым человеком. Ах! Если бы все люди, сколько их было тогда в Русском царстве, в один голос сказали Наталье: «Алексей — злодей!» — она бы с тихою улыбкою отвечала им: «Нет!.. Сердце мое знает его лучше, нежели вы; сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю».

Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья! — сказал он. — Тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля Всевышнего соединила нас навеки; ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. Итак, знай, что я сын несчастного боярина Любославского». — «Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести». — «Его уже нет на свете! Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех вол-

нениях и бунтах, которые лет за тридцать перед сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной власти юного государя, но скоро гнев Божеский наказал мятежников: рассеялись, как прах, многочисленные их сообщники и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой по некоторому подозрению, но совершенно ложному взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных; представили доказательства мнимой его измены и согласия с мятежниками; отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышнего судии готова была подписать ему смерть… Надежда исчезала в душе невинного, один Всевышний мог спасти его — и спас. Верный друг отворил ему дверь темницы — и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности, мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету — народы суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас дружески, и мы около десяти лет жили с ними, не имели

ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве; сидели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несущиеся от стран российских, проливали жаркие слезы; всякая птица, летевшая с запада[7], казалась нам милее; всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и вздохами. Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честию можем возвратиться в отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя, силы его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего, благословил меня и, сказав: “Бог и друг наш не оставят тебя”, умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты; несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастии; в ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня

[7] Notes: 7
То есть от России. *Прим. авт.*

в Россию. “Верстах в сорока от Москвы, — писал он, — в дремучем, непроходимом лесу построил я уединенный домик, не известный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место”. Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям волжских берегов, простился с зеленою могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю — и в густоте темного леса, на узкой равнине, нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом: “Ты сын боярина Любославского! Господин мой, верный друг его — тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, — скончался! Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни; найдешь сокровища: они твои”. Я поднял глаза на небо; молчал — и слезы мои катились градом. “Кто будет моим помощником? — думал я. — Моим наставником? Я один в свете!.. Всевышний! Ты, кому поручил меня родитель мой! Не оставь бедного!”

Я поселился в пустыне; видел у себя множество серебра и золота, но нимало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой Московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные домы, все чудеса великого града — и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши… Хладный ужас разлился по моей внутренности.

Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице и называя себя иногородним купцом, часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были

истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно — в пустом лесу и среди народа. С горестию ходил я по улицам царственного града и смотря на людей, которые встречались со мною, думал: “Они идут к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады — мне идти не к кому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает!” Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою; но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намерения.

Пришла мрачная осень, пришла скучная зима: лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и — увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом Божиим… Нет! Говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго, а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелестям и часто думал: “Господь Бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек”, но глаза

мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось — они казались мне *чужими*. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как родную свою. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла — и мне показалось, что красное солнце закатилось и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался; наконец я пришел в себя, стал расспрашивать и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. “Со мною то же делается, — думал я, — и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня… с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь — только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково…

Но я, верно, ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит!" Наступила ночь — и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей: крестилась белою рукою своею и прятала ее под соболью шубейку. На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постели…»

«Так! — прервала Наталья. — Так! Я это знала; сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни».

«Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг был в доме твоего родителя, виделся с твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности — наконец она согласилась быть мне помощницею. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви, иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры, наконец решился узнать судьбу мою: упал к ногам твоим — и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить

под другим кровом и всякий час беспокоиться и всякий час думать: “Жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах! Не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених, богатый и знатный?” Нет, нет! Мне оставалось умереть или жить с тобою! Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною: слезы мои тронули старца.

Теперь известно тебе, кто супруг твой; теперь совершились все мои желания. Грусть, скука! Простите! Для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня, милая Наталья со мною! Но я вижу томность в глазах твоих, тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе».

Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах! Для чего нет с нами батюшки! — сказала она, прижавшись к сердцу супруга. — Когда мы с ним увидимся? Когда он благословит нас? Когда я при нем поцелую тебя, сердечного друга моего?» — «Тот, — отвечал Алексей, — тот милостивый Бог, который дал мне тебя, верно, все для нас сделает. Положимся на него: он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя

и принять его благословение».

Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею, которая (уверившись, что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороною от лесных зверей) перестала бояться, познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его, и проч. и проч. Алексей пошептал на ухо одному человеку — и через минуту никого не осталось в передней: старушку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной — помог ей раздеться — сердца их бились — он взял ее за белую руку… Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое — ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных!

А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!

Уже солнце взошло высоко на небе и рассы-

пало по снегу миллионы блестящих диамантов, но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала и ничего не слыхала; наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко: «Пора вставать, пора вставать!» Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изображалась томная слабость — но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощию своей няни, помолилась Богу со слезами и дожидалась супруга своего, который между тем занимался хозяйством, приказывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностию обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг! Я думаю о батюшке. Ах! Он, верно, тоскует, плачет, сокрушается!.. Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать…» Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвее.

Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что делается в царственном граде. Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее терем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился — увидел на столике письмо, развернул его, прочитал — не верил глазам своим — прочитал в другой раз — хотел еще не верить, но дрожащие ноги его подогнулись — он упал на землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь! — сказал трепещущий старец. — Государь!..» Он не мог говорить и подал царю Алексеево письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель? — сказал он. — Но везде найдет его грозная рука правосудия». Сказал — и во все страны Русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя.

Царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит, — сказал он, взглянув на небо, — Бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!..

Так, государь! Она и теперь мила мне боле всего на свете!.. Кто увез ее из родительского дому? Где она? Что с нею делается?.. Ах! На старости лет моих я побежал бы за нею на край света… Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее… Нет! Дочь моя не могла полюбить злодея!.. Но для чего же не открыться родителю?.. Кто бы он ни был, я обнял бы его как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего?.. Не знаю, что думать!.. Но ее нет!.. Я пла́чу — она не видит слез моих, умру — она не затворит глаз отца, который полагал в ней жизнь и душу свою!.. Правда, без воли Всевышнего ничего не делается; может быть, я заслужил наказание руки его… Покоряюсь без роптания!.. Об одном прошу тебя, Господи: будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести — лишь бы дочь моя была благополучна!.. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя… (Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его.) Ты плакала; эта бумага мокра от слез твоих — я буду хранить ее на моем сердце как последний знак любви твоей. Ах! Если ты ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти… Но как угодно Всевышнему! Между тем отец твой, сирота на старости, будет отцом

несчастных и горестных; обнимая их, как детей своих, — как твоих братий, — он скажет им со слезами: “Друзья! Молитесь о Наталье”». Так говорил боярин Матвей, и чувствительный царь был тронут до глубины сердца.

Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком печали — увы! — и самая добродетель не может нас предохранить от горести! Беспрестанно будешь ты думать о милой сердца твоего — вздыхать и сидеть, подгорюнившись, перед широкими воротами своего дому! Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье! Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им горек — ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля!

Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителя ее, когда он шел из дворца государева, — вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? Посланный не мог ответить ни *да,* ни *нет,* ибо он хотя и видел бо-

ярина, но смотрел на него не проницательными глазами нежной дочери. «Для чего, — сказала Наталья, — для чего не могу я превратиться в невидимку или маленькую птичку, чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу?» — «Ах, нет! Я не пустил бы тебя! — отвечал Алексей. — Почему знать, что бы могло с тобою случиться? Нет, мой друг! Я не могу и вздумать о разлуке — а ты можешь!» Наталья почувствовала нежную укоризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и поцелуем.

Теперь надлежало бы мне описывать счастие юных супругов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света, но вы, которые наслаждаетесь подобным счастием, скажите, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, не различимые глазом человеческим. Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новы и бесчисленны. Наталья просыпалась и — любила; вставала с постели и — любила; молилась и — любила; что ни дума-

ла — все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию.

Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки, — нет! Наталья принялась за рукоделье, за пяльцы и скоро вышила разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки: первую для милого супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему!» — говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки — любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель! Алексей умел рисовать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге; опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры: не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшею точностию. Красавица смотрела на движение

руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то башни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими зверями, ибо они (как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса) не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении. Таким образом прошла зима, снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домику, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга — и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье! — сказала красавица. — Мой друг! Пойдем гулять!» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли, — сказала Наталья супругу своему, — знаешь ли, что прошедшею весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри: здесь, на кусточке, поют две птички — кажется, малиновки, — посмотри, как они обнимаются крылышками; они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не правда ли» Всякий

может вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников.

Но нежная дочь, наслаждаясь любовию, не забывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинаковые: боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Друзья! Помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела на образ.

Однажды возвратился посланный с великою поспешностию. «Государь! — сказал он Алексею. — Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на Русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей, именем царя православного, ободрял воинов; я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: "Умрем за царя-государя! Умрем за отечество или победим литовцев!" Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи, и бердыши, и копья булатные. Завтра выйдет оно в поле под начальством воевод храбрейших». Сердце Алексеево затрепетало, кровь закипела — он схватил со стены

меч отца своего — взглянул на супругу — и меч упал на землю — слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья! — сказал Алексей по некотором молчании. — Ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?»

Наталья. С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела говорить тебе; только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет, а я возьму за руку тебя и его, запла́чу от радости и скажу: «Вот они; вот те, которых люблю, – теперь я совершенно счастлива!»

Алексей. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай.

Наталья. Какой же, мой друг?

Алексей. Ехать на войну, сразиться с неприятелями Русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославские любят его и верно служат своему отечеству.

Наталья. Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною, я всюду готова.

Алексей. Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами – как тебе ехать со мною?

Наталья. Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня? А теперь думаешь ехать один, и еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою – или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?

Алексей обнял свою супругу. «Поедем, — сказал он, — поедем и умрем вместе, если так Богу угодно! Только на войне не бывает женщин, милая Наталья!» Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок… Алексей изумился, но скоро узнал в сем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он будучи тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой, — сказала она с усмешкою. — Теперь

дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный — увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на которых было подписано: «С нами Бог: никто же на ны!»[8]), вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина, надел латы покойного отца своего — и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с двумя стариками.

А мы оставим на несколько времени супругов наших, в надежде, что Небо не оставит их и будет им защитою в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву — там началась наша история, там до́лжно ей и кончиться.

Увы! Какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого,

---

[8] Notes: 8

В Оружейной московской палате я видел много панцирей с сею надписью. *Прим. авт.*

«…Никто же на ны» — никто на нас [не пойдет] *(старослав.)*.

кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить Бога, чтобы он отвратил грозную тучу от Русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь! — говорит он. — Надейся на Бога и на храбрость своих подданных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские; тверда, подобно камню, грудь сынов твоих — победа будет всегда верною их подругою». Так говорил боярин; думал о благе отечества — и тосковал о своей дочери.

В поту, в пыли прискакал вестник — царь встречает его на половине крыльца и дрожащею рукою развертывает письмо военачальников… Первое слово есть «победа»! «Победа!» — восклицает он в радости. «Победа!» — восклицают бояре. «Победа!» — народ повторяет. И во всем царственном граде раздавался один голос: «Победа!», и во всех сердцах было одно чувство: *радость!*

Начальники доносили государю обо всем

с величайшею подробностию. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему; но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим!» — и в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей; за ним бросились и другие; все воинство двинулось и, восклицая: «Умрем или победим!», устремилось, как буря, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина; которому принадлежит вся честь победы и который гнал, разил неприятеля и собственною рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государь. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою во град Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя отечества и достойного всей твоей милости».

Царь с нетерпением ожидал своих героев

и выехал встреть их в поле, вместе с боярином Матвеем и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось; слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям; супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался, второй и третий; разноцветные знамена веяли над оными: воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом, назади ехали конные — впереди начальники, под сению трофеев. Увидели государя, и восклицания: «Победа и здравие царю российскому!» — загремели в воздухе. Воеводы упали перед ним на колена. Он поднял их и сказал с улыбкою милости: «Благодарю вас именем отечества». — «Государь! — отвечали они. — Мы старались исполнить должность свою! Но Бог даровал нам победу рукою сего юного воина». Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, преклонил колено. «Кто ты, храбрый юноша? — спросил государь, простирая к нему правую руку свою. — Имя твое должно быть славно в пределах Русского царства». — «Государь! — отвечал юноша. — Сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза на небо. «Благодарю тебя, Бо-

же, — сказал он, — что ты посылаешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и за страдание невинного отца наградить достойного сына! Так, храбрый юноша! Невинность родителя твоего открылась — к несчастию, поздно! Увы! Я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского; один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по которым судили невинного. Видишь слезы мои. Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее!» — «Итак, память отца моего, — сказал Алексей, — чиста от поношения!.. Но я — я винен перед тобою, государь великий! Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому!» Царь удивился. «Где же она?» — спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою: прекрасная Наталья, в одежде воина, бросилась в его объятия; шишак спал с головы ее — и русые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смел верить сему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая нашлася. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его. Долго

не говорил он ни слова, опустив голову на плечо Наталье, наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть, откликнется ли она, назвал ее своею милою, прекрасною — и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его, которое так долго было печальным! Казалось, будто язык его учился произносить давно забытые имена: столь медленно он их выговаривал! И повторял столь часто! Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь! — говорила она. — Так же любишь!» И теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за руку и подвел его к боярину. «Вот, — сказала Наталья, — вот супруг мой! Прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь!» Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью…

Царь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости.

«Она дочь моя, – сказал боярин Матвей прерывающимся голосом, – он сын мой…

Господи! Дай мне умереть в их объятиях!»

Старец снова прижал их к своему сердцу.

Читатель вообразит себе все последующее. Старушку няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенною царскою милостию. Алексей оказал важные услуги отечеству и государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своей дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юнейшего и любезнейшего внука его, он хотел обнять милого отрока — и скончался.

Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед сим прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки, близ темной сосновой рощи, нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломленный рукою времени. С великим трудом мог я прочи-

тать на нем следующую надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский со своею супругою». Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь — вероятно, самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей.

Евгений и Юлия. Русская истинная повесть

Cessez et retenez ces clameurs lamentabies

Faible soulegement aux maux des miserables!

Flechi'ssons sous un Dieu, que veut nous eprouver,

Oui d'un mot peut nous perdre, et d'un mot nous souver![9]



Госпожа Л*, проведшая все время своей молодости в Москве, удалилась наконец в деревню

---

[9] Notes: 9

Удержите и прекратите ваши жалобные вопли,

Слабое утешение в беде всех несчастных!

Покоримся Богу, который хочет нас испытать,

Который единым словом может нас погубить или спасти! (фр.)

и жила там почти в совершенном уединении, утешаясь своею воспитанницею, дочерью покойной ее приятельницы, которая в последний час жизни своей, пожав ее руку, сказала: «Будь матерью моей Юлии!»

Подобно тихой прозрачной реке текла мирная жизнь их, струившаяся невинными удовольствиями и чистыми радостями. Праздность и скука, которые угнетают многих деревенских жителей, не смели к ним приблизиться. Они всегда чем-нибудь занимались; сердце и разум их были всегда в действии. Едва мрачные ночные тени исчезать начинали, едва румяный свет зари начинал разливаться по воздуху, госпожа Л*, пробуждаясь вместе с природою, нежными ласками прерывала покойный сон Юлии и призывала ее пользоваться приятностями утра. Обнявшись, выходили они из дому, дожидались солнца, сидя на высоком холме, и встречали его с благословением. Насладясь сим великолепным зрелищем природы, возвращались они домой с чувством веселия, ходили по саду, осматривали цветы, любовались их освеженною красотою и питались амброзическими испарениями. Госпожа Л*, посмотрев на пышную розу, часто с улыбкою обращала взор свой на Юлию, находя между ими

великое сходство. Но Юлия любила более всех цветов фиалку. «Миленький цветочек! — говаривала она, прикасаясь нежными устами своими к ее листочкам. — Миленький цветочек! Напрасно скрываешься в густоте травы: я везде найду тебя». Говоря сие, клялась внутренне быть всегда смиренною подобно любезной своей фиалочке. После обеда хаживали они смотреть полевые работы поселян, которые в присутствии их трудились с радостию. Вечер приносил с собою новые удовольствия. Смотрели на заходящее солнце, смотрели, как кроткие овечки при звуках пастушеской свирели бегут домой, блеют и прыгают, как утружденные поселяне один за другим возвращаются в деревню, и слушали, как они, быв довольны успехом работ своих, в простых песнях благословляют мать-натуру и участь свою.

Когда же наступала пасмурная осень и густым мраком все творение покрывала или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир бурями своими, когда в нежное Юлиино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала грудь ее, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов, писавших для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евге-

ния, сына госпожи Л*, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлиины наполнялись слезами, приятными слезами любви и почтения к благоразумному и добросердечному юноше. «Ах! Когда он к нам приедет? — часто говаривала госпожа Л*. — Как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу и тебя вместе с ним, Юлия!»

Так текли месяцы и годы. Настало время, в которое молодому Л* надлежало возвратиться в отечество и в объятия своей матери. Всякий день ждали его, и все о нем говорили. Гуляя по цветущим лугам — тогда было еще начало лета, — беспрестанно посматривали на большую дорогу. Когда поднималась вдали пыль, сердца, ожиданием томимые, трепетать начинали. Прогуливались долее обыкновенного, медлили обедать, медлили ужинать, надеялись, что приедет сын, приедет братец — с самого детства Юлия привыкла называть Евгения сим именем.

Наконец он приехал. Восклицания, восторг, радостные слезы — кто сие описать может? Несколько дней не могли они от радости опомниться. Юлия — по скромности, свойственной молодой благонравной девушке, — старалась удерживать сильные движения своего серд-

ца, но не всегда могла удержать их. Молодой, пылкий человек, воспитанный с нею вместе и любивший ее как сестру свою, после такой долговременной разлуки требовал от нее все новых уверений в любви. Юлия должна была обходиться с ним так же вольно, так же просто, как и в детстве. Он непременно хотел, чтобы она всегда говорила ему *ты,* а не *вы*; сего последнего слова не мог он терпеть в устах своей Юлии. «Как бы я был несчастлив, — говорил он трогательным голосом, — если бы разлука хотя несколько прохладила твою любовь ко мне, тот нежный жар дружбы, который составлял счастие моего младенчества!.. Нет, сестрица! Ты меня, конечно, так же любишь, как и прежде, собственное мое сердце меня в том уверяет. Хотя, расставшись с вами, перешел я совсем в новый мир, где меня все занимало, все изумляло; однако ж мысль о вас — о матушке и о тебе — была всегда первою и приятнейшею моею мыслию. Помнишь, как мы прощались, когда я, проливая слезы, сказал тебе прерывающимся голосом: “Юлия! Я буду всегда нежнейшим другом твоим!” Эта сцена никогда не выходила из памяти моей». Юлия отвечала ему одною улыбкою, но сия улыбка сказывала ему все. Госпожа Л* в радости обнимала сына

своего и Юлию.

Хозяйки водили Евгения по всем лучшим местам в окрестности своей деревни и показывали ему прекрасные виды, открывающиеся с вершин зеленых холмов. «Под этим высоким вязом, — говорила ему госпожа Л*, — ты часто сиживал с Юлиею; часто бегивал с нею по этому лугу, в этом леску брали мы землянику, и, когда Юлия, не умея искать ягод, грустила, ты тихонько подбегал к ней и пересыпал свои ягоды в ее корзинку. На этой долине вы заставили меня однажды плакать и благодарить Бога. Помнишь ли? Нет, ты уже всё забыл. Так я расскажу тебе. Мы гуляли по роще. Вышедши на долину, увидели мы лежащего на траве старика, который едва дышал от усталости и зноя. Ты тотчас бросился к нему, схватил с себя шляпу, почерпнул воды, возвратился к старику, напоил его и смыл у него с лица пыль, а Юлия обтерла его платком своим. Боже мой! Как я радовалась вами, видя такие знаки чувствительности вашего сердца!»

Гуляя при свете луны, рассматривали звездное небо и дивились величию Божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких, нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживляемы духом натуры! Как возвышалось

сердце молодого человека, когда он в лице Юлии рассматривал образ спокойной невинности, освещаемый лучами тихого светила.

Евгений подарил Юлии множество нот, множество французских, италианских, немецких книг. Она прекрасно играла на клавесине и пела. Клопштокова песня «Willkommen, silberner Mond»[10], к которой музыку сочинил кавалер Глук, ей отменно полюбилась. Никогда не могла она без сердечного размягчения петь последней строфы, в которой Глук так искусно согласил тоны с чувствами великого поэта. Кроткие, нежные души! Вы одне знаете цену сих виртуозов, и вам единственно посвящены их бессмертные сочинения. Одна слеза ваша есть для них величайшая награда.

15 августа минуло Евгению двадцать два года, а Юлии двадцать один. Утренняя песнь птичек разбудила юношу. Он открыл глаза, и все предметы вокруг него улыбнулись. Встав с веселием, спешил он к своей родительнице. Она сидела в задумчивости, облокотившись на окно, подле которого на молодой яблоне лобызались две горлицы; на челе ее видны были знаки небес-

---

[10] Notes: 10
«Явись к нам, серебряный месяц» *(нем.)*.

ных чувств. Евгений смотрел на нее с глубоким почтением, не смев прервать ее размышления. Но сердце ее скоро почувствовало приход любезного сына; она встала, обняла его и благословила день его рождения. Вошла Юлия. Легкое белое платье с розовыми лентами, распущенные волосы, радостная усмешка — все сие возвышало красоту ее. Она летела в объятия своей воспитательницы. Евгений поцеловал ее руку.

Госпожа Л* села на софу, посадила подле себя детей своих, смотрела на них с умильною любовию и начала говорить: «Бог видит, что я вас равно люблю, сердце мое признаёт Юлию своею дочерью. Я всегда радовалась взаимною вашею любовию, веселилась, что Бог даровал мне таких милых детей. Призна́юсь, я боялась, чтобы ты, сын мой, просвещая свой разум, не развратился в сердце, которое у тебя так мягко. Часто на коленях взывала я к Богу: спаси моего сына! Он услышал молитву мою, и ты возвратился к нам с большими знаниями и с неиспорченными чувствами. Не правда ли, что и в Юлии нашел ты новые достоинства? Она была предметом всех моих попечений, я старалась ее научить всему тому, что сама знала. Богу открыто было мое намерение, а теперь и вам его открою. Я готови-

ла вас друг для друга. Вы друг друга достойны, друг друга любите: совершите же благополучие мое и соединитесь вечным, священным союзом!» Евгений вдруг встал, бросился к ногам матери своей и мог сказать только: «Матушка… Матушка!» Юлия преклонила голову свою на груди ее и в безмолвии жала ее руку. Евгений одною рукою обнял мать свою и Юлию… Блаженные патриархальные времена, в которые добродетельный юноша без всякой боязливой застенчивости, означающей растленную пороком душу, прижимал к груди своей добродетельную девицу! Одна минута излетела из глубины вашей, вырвалась из объятий вечности, вас поглотившей, возвратилась в мир и осчастливила юного Евгения! «Блаженствуйте, дети мои! — говорила госпожа Л*. — Блаженствуйте ко счастию матери вашей!» — «Ах! Достойна ли я такого блаженства! — сказала Юлия. — Ваши милости…» — «Ты для меня небесный дар, Юлия, дар, которого едва смел я желать во глубине своего сердца».

Если бы Рафаэль увидел сию сцену, то он забыл бы писать картину и в восхищении бросил бы кисть свою.

Все домашние, узнав, что Евгений скоро будет супругом Юлииным, были вне себя от радости:

все любили его, все любили ее. Всякий спешил к обедне, всякий хотел от всего сердца молиться о благополучии их. Какое зрелище для ангелов! Евгений и Юлия составляли одно сердце, в пламени молитвы к Небесам воспарявшее. Госпожа Л* в жару благоговения многократно упадала на колени, поднимая глаза к небу и потом обращая их на детей своих. Надлежало думать, что сии сердечные прошения будут иметь счастливые следствия для юной четы, что она будет многолетствовать в непрерывном блаженстве, каким только можно смертному на земле сей наслаждаться. Но судьбы Всемогущего суть для нас непостижимая тайна. Пребывая искони верен законам своей премудрости и благости, он творит — мы изумляемся и благоговеем, — в вере и молчании благоговеть должны.

Будучи в беспрестанном восторге высочайшей радости, Евгений около вечера почувствовал в себе сильный жар. Он не хотел чувствовать его, хотел превозмогать натуру и таить сие борение; но внутреннее состояние его скоро открылось проницательным глазам нежной его родительницы и Юлии. Страх разлился по всем нервам их. Радость, подобно летнему солнцу, скрылась за облако печальных предчувствий; буря и гром

таились в недрах оного. Больного положили на постель — послали в город за доктором — все были в смятении, но все старались еще льстить себя надеждою. Так человек по некоторому природному побуждению — может быть, счастливому — закрывает глаза свои, когда освещает его луч будущих горестей!

Евгений, несмотря на то что пламя болезни стремилось в нем охватить все протоки жизни, просил печальную мать свою и плачущую Юлию успокоиться, уверяя, что ему становится лучше; но огненные руки его и горящее лицо обличали его в неправде. Три дни, в которые ни госпожа Л*, ни Юлия почти не отходили от постели и не смыкали глаз, болезнь его то усиливалась, то уменьшалась. Приехал доктор, осмотрел больного и не сказал ничего решительного. Казалось, что в пятый день было ему гораздо легче: утешение блеснуло в душах печальных. Но в шестой день пришел он в беспамятство, и доктор сказал Юлии за тайну, что нельзя ручаться за жизнь его. Оцепенение и обморок!

Больной в беспамятстве своем часто говорил с жаром: «Я не хочу, не хочу с нею расстаться!.. Только с нею хотел бы я царствовать… Оставь меня, искуситель, и не кажись Юлии!»

В девятый день, на самом рассвете, душа Евгениева оставила бренное тело. Исступленной матери казалось, что собор святых духов принял ее в свои объятия и с громогласными песнями провожал по пространствам эфира. После сей небесной мечты она почувствовала в себе бодрость и могла утешать Юлию, которая упала на грудь мертвого и в отчаянии восклицала: «Друг, супруг мой! Постой, постой! Умрем вместе!» Насилу могли вывести ее из комнаты.

Через три дни надлежало погребать тело. Все дворовые люди и крестьяне присутствовали при сем печальном обряде и проливали горькие слезы. Всякий хотел нести гроб и тем оказать последний долг покойному. За гробом шла несчастная мать в длинном черном платье. Немая горесть изображалась на лице ее, но сквозь глубокие черты сей горести сияла твердость и всякая надежда на небесное подкрепление. Бледная, изнемогшая Юлия не могла сама идти, ее вели две женщины под руки в некотором отдалении от гроба. Ни одной капли слез не видно было в глазах ее, и никаких жалоб уста ее не произносили, но в сердце своем чувствовала она всю тягость свершившегося удара.

Унылый глас похоронных песней и вид гроба,

опускаемого в землю, не могли поколебать мужества госпожи Л*. Но Юлия не могла уже вынести сей последней сцены, громко закричала и едва было без чувств не упала в могилу, но госпожа Л* успела схватить и удержать ее.

Так скрылся из мира нашего любезный юноша. Прости, цвет добродетели и невинности! Прах твой покоится в объятиях общей матери нашей, но дух, составлявший истинное существо твое, плавает в бесчисленных радостях вечности, ожидая своей любезной, с которою не мог он здесь соединиться вечным союзом. Прости!

Госпожа Л* и Юлия лишились в сей жизни всех удовольствий и живут во всегдашнем меланхолическом уединении. Самая природа, бывшая некогда для них источником радостей, представляется им мрачною и запустевшею. Единственную отраду свою находят они в молитве и в помышлении о будущей жизни. В следующую весну Юлия насадила множество благовонных цветов на могиле своего возлюбленного; будучи орошаемы ее слезами, они распускаются там скорее, нежели в саду и на лугах. Молодые деревенские девушки и мальчики празднуют подле сей могилы пришествие прекрасного мая, но отцы их и матери никогда без тяжелого вздоха

мимо ее не проходят.

Один молодой чувствительный человек, проезжавший через деревню госпожи Л* и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне:

Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься —

Увял, иссох, опал – и в рай был пренесен.

Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Историческая повесть



— Вот один из самых важнейших случаев российской истории! — говорит издатель сей повести. — Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новогородскую к своей державе: хвала ему! Однако ж сопротивление новогородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев; они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно: им должно было предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новугороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы.

В наших летописях мало подробностей сего

великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и — сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, переселенных великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историею. И летописи, и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Катоном своей республики.

Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новогородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только *страстную,* пылкую, умную, а не великую и не добродетельную женщину.

КНИГА ПЕРВАЯ



Раздался звук *вечевого колокола* — и вздрогнули сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают; никто не ответствует… Там, против древнего дому Ярославова, уже собралися посадники с золотыми на груди медалями, тысяцкие[11] с высокими жезлами, бояре, люди житые[12] со знаменами и старосты всех пяти Концов новогородских[13] с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном, или Вадимовом (где возвышался мраморный об-

[11] Notes: 11

Тысяцкий — один из руководителей городской администрации, назначался из бояр.

[12] Notes: 12

Житые (житьи) люди — общественный класс, стоявший между боярством и средним купечеством.

[13] Notes: 13

Так назывались части города: Загородский, Неровский, Людин, Славенский и Плотнинский.

раз сего витязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником[14] — и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для своего имени, — всходит на железные ступени, открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь московский прислал в Великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования… Посадник сходит — и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте, с видом гордым, препоясанный мечом и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый — правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных, — храбрый в битвах, велеречивый в совете. Все безмолвствуют. Боярин хочет говорить… но юные надменные новгородцы восклицают: «Смирись пред великим народом!» Он медлит — тысячи голосов повторяют: «Смирись пред великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей — и шум умолкает.

---

[14] Notes: 14

Степенной посадник — представитель высшей исполнительной власти в Новгороде, выбирался на год или на полгода из представителей Концов.

«Граждане новогородские! — вещает он. — Князь московский и всея России говорит с вами — внимайте!

Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок: а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину.

Граждане новогородские! В стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду; на сем месте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На сем месте они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новогородцы под державною рукою варяжского героя сделались ужасом и завистию других народов; и, когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все пле-

мена славянские покорялись ему с радостию, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию.

Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства; но Великий Новгород был всегда десницею князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам цареградским. Святослав с дружиною новогородскою рассеял, как прах, воинство Цимисхия, и внук Ольгин вашими предками был прозван *владетелем мира*.

Граждане новогородские! Не только воинскою славою обязаны вы государям русским: если глаза мои, обращаясь на все Концы вашего града, видят повсюду златые кресты великолепных храмов святой веры, если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки идолослужения погибали с шумом в быстрых волнах его, — то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному Богу; Владимир низверг Перуна в пучину Волхова!.. Если жизнь и собственность священны в Новегороде, то скажите, чья рука оградила их безопасностию?.. Здесь (указывая на дом Ярослава), здесь жил мудрый законо-

датель, благотворитель ваших предков, князь великодушный, друг их, которого называли они вторым Рюриком!.. Потомство неблагодарное! Внимай справедливым укоризнам!

Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братий своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властию… и в какие времена? О стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству также… Бог в неисповедимом совете своем положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, пришельцы от стран никому не известных[15], подобно сим тучам насекомых, которые Небо во гневе своем гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут, земля русская обагряется кровью русских, города и села пылают, гремят цепи на девах и старцах… Что ж делают новогородцы? Спешат ли на помощь к братьям своим?.. Нет! Пользуясь своим удалением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием князей, отнимают у них власть законную, держат их в стенах своих, как в темнице, изгоняют,

[15] Notes: 15
Так думали в России о татарах. *Прим. авт.*

призывают других и снова изгоняют. Государи новогородские, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадников и трепетать *вечевого колокола,* как трубы суда Страшного! Наконец никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча… Наконец русские и новогородцы не узнают друг друга!

Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее племя славянское могло забыть кровь свою? Корыстолюбие, корыстолюбие ослепило вас! Русские гибнут, новогородцы богатеют. В Москву, в Киев, во Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их; в Новгород привозят товары чужеземные, и народ с радостными восклицаниями приветствует гостей иностранных! Русские считают язвы свои — новогородцы считают златые монеты. Русские в узах — новогородцы славят вольность свою!

Вольность!.. Но вы также рабствуете. Народ! Я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен, — но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О стыд! Потомки славян

ценят златом права властителей! Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысяцкие, люди житые обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли, торгуют и благом народа; кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так, известны князю московскому их дружественные, тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук *вечевого колокола,* и надменный поляк скажет вам на лобном месте: “Вы — рабы мои!” Но Бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новогородцы! Земля русская воскресает. Иоанн возбудил ото сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство, и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступились. Настало время мести, время славы и торжества христианского. Еще удар последний не совершился, но Иоанн, избранный Богом, не опустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстию. Дмитрий, поразив Мамая, не освободил России; Иоанн все предвидит, и,

зная, что разделение государства было виною бедствий его, он уже соединил все княжества под своею державою и признан властелином земли русской. Дети отечества, после горестной долговременной разлуки, объемлются с веселием пред очами государя и мудрого отца их.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, Великий Новгород, не возвратился под сень отечества. Вы оскорбляли его предков; он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новогородским!.. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас; вспомните, как вы удивлялись его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новаграда в дом Ярославов; вспомните, с каким благоволением, с какою мудростию он беседовал с вашими боярами о древностях новогородских, сидя на поставленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его обнимал все Концы града и веселые окрестности; вспомните, как вы единодушно восклицали: “Да здравствует князь московский, великий и мудрый!” Такому ли государю не славно повиноваться, и для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда

Новгород еще более украсится и возвеличится в мире. Вы будете *первыми* сынами России: здесь Иоанн поставит трон свой и воскресит счастливые времена, когда не шумное *вече,* но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые. Тогда бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицом владыки самодержавного.

Народ и граждане! Да властвует Иоанн в Новегороде, как он в Москве властвует! Или внимайте его последнему слову — или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде глазам вашим, да усмирит мятежников!.. Мир или война? Ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: «Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени, тихо и величаво, взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует… Важность и скорбь видны на бледном лице ее… Но скоро осененный горестию взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем,

и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! Здесь лилась священная кровь твоя, здесь призываю Небо и тебя во свидетели, что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан; что скажу истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию. Жена дерзает говорить на вече: но предки мои были друзья Вадимовы; я родилась в стане воинском под звуком оружия; отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольности! Оно куплено ценою моего счастия…»

«Говори, славная дочь Новаграда!» — воскликнул народ единогласно — и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание.

«Потомки славян великодушных! Вас называют мятежниками!.. За то ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они были свободны, когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим над их главою в обширных пустынях древнего мира… Они утвердились на красных берегах Ильменя и все еще служили одному Богу. Когда великая империя[16], как ветхое здание, сокруша-

---

[16] Notes: 16
Римская.

лась под сильными ударами диких героев севера, когда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские искали везде добычи, жили убийствами и грабежом, тогда славяне имели уже селения и города, обрабатывали землю, наслаждались приятными искусствами мирной жизни, но все еще любили независимость. Под сению древа чувствительный славянин играл на струнах изобретенного им мусикийского орудия[17], но меч его висел на ветвях, готовый наказать хищника и тирана. Когда Баян, князь аварский, страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему поддалися, они гордо и спокойно ответствовали: “Никто во вселенной не может поработить нас, доколе не выйдут из употребления мечи и стрелы!..” О великие воспоминания древности! Вы ли должны склонять нас к рабству и к узам?

Правда, с течением времени родились в душах новые страсти, обычаи древние, спасительные забывались, и неопытная юность презирала мудрые советы старцев; тогда славяне призвали к себе знаменитых храбростию князей варяжских, да повелевают юным мятежным

[17] Notes: 17
Мусикийским орудием называли музыкальные инструменты.

воинством. Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим Храбрый звал его пред суд народа. “Меч и боги да будут нашими судиями!” — ответствовал Рюрик — и Вадим пал от руки его, сказав: “Новогородцы! На место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие — и славить вольность, когда она с торжеством явится снова в стонах ваших…” Исполнилось желание великого мужа: народ собирается на священной могиле его свободно и независимо решить судьбу свою.

Так, кончина Рюрика — да отдадим справедливость сему знаменитому витязю! — мудрого и смелого Рюрика, воскресила свободу новогородскую. Народ, изумленный его величием, невольно и смиренно повиновался, но скоро, не видя уже героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав многократно его упорную непреклонность, удалился от Новагорода с воинством храбрых варягов и славянских юношей искать победы, данников и рабов между другими скифскими, менее отважными и гордыми племенами. С того времени Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и военачальников; народ избирал власти гражданские и, повинуясь

им, повиновался уставу воли своей. В киевлянах и других россиянах отцы наши любили кровь славянскую, служили им, как друзьям и братьям, разили их неприятелей и вместе с ними славились победами. Здесь провел юность свою Владимир; здесь, среди примеров народа великодушного, образовался великий дух его; здесь мудрая беседа старцев наших возбудила в нем желание вопросить все народы земные о таинствах веры их, да откроется истина ко благу людей; и, когда, убежденный в святости христианства, он принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен славянских, изъявили и более ревности к новой истинной вере. Имя Владимира священно в Новегороде; священна и любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских утвердил законы и вольность великого града. Пусть дерзость называет отцов наших неблагодарными за то, что они отражали властолюбивые предприятия его потомков! Дух Ярославов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он любил новогородцев, ибо они были свободны; их признательность радовала его сердце, ибо только души свободные могут быть признательными: рабы повинуются

и ненавидят! Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во имя отечества собирается пред домом Ярослава и, смотря на сии древние стены, говорит с любовию: “Там жил друг наш!”

Князь московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденствием — и в сей вине не можем оправдаться! Так, конечно: цветут области новогородские, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются к нам рекою; Великая Ганза[18] гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну свою, говорят: “Мы видели Новгород, и ничего подобного ему не видали!” Так, конечно: Россия бедствует — ее земля обагряется кровию, веси и грады опустели, люди, как звери, в лесах укрываются, отец ищет детей и не находит, вдовы и сироты просят милостыни на распутьях. Так, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага, дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство

[18] Notes: 18

Союз вольных немецких городов, который имел свои конторы в Новегороде.

народное!

Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья! Не мы, но вы нас оставили, когда пали на колена пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни; когда свирепый Батый, видя свободу единого Новаграда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан, когда отцы наши, готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих — без робости: ибо знали, что умрут, а не будут рабами!.. Напрасно с высоты башен взор их искал вдали дружественных легионов русских в надежде, что вы захотите в последний раз и в последней ограде русской вольности еще сразиться с неверными! Одни робкие толпы беглецов являлись на путях Новаграда; не стук оружия, а вопль малодушного отчаяния был вестником их приближения; они требовали не стрел и мечей, а хлеба и крова!.. Но Батый, видя отважность свободных людей, предпочел безопасность свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться!.. Напрасно граждане новогородские молили князей воспользоваться таким примером и общими силами, с именем Бога русского ударить на варваров: князья платили дань и ходили в стан татарский обвинять друг друга в замыслах

против Батыя; великодушие сделалось предметом доносов, к несчастию, ложных!.. И если имя победы в течение двух столетий сохранилось еще в языке славянском, то не гром ли новогородского оружия напоминал его земле русской? Не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы? Воспоминание горестное! Сей витязь добродетельный, драгоценный остаток древнего геройства князей варяжских, заслужив имя бессмертное с верною новогородскою дружиною, храбрый и счастливый между нами, оставил здесь и славу, и счастие, когда предпочел имя великого князя России имени новогородского полководца: не величие, но унижение и горесть ожидали Александра во Владимире — и тот, кто на берегах Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен был упасть к ногам Сартака.

Иоанн желает повелевать великим градом: не удивительно! Он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не перестали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны; одни несчастные желают перемен — но мы благоденствуем и свободны!

Благоденствуем оттого, что свободны! Да молит Иоанн Небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас: тогда Новгород может возненавидеть счастие и пожелать гибели, но доколе видим славу свою и бедствия княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права новогородские всего святее нам по Боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею доверенностию для правления! Клевета в устах властолюбия и зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! Вы торгуете благом народным? Но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость, тому чего желать в мире? Разве последнего счастия — умереть за отечество!

Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Давно уже молва народная известила нас о его величии, и люди вольные желали иметь гостем самовластителя; искренние сердца их свободно изливались в радостных восклицаниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия нашего, конечно, обманули князя московского; мы хотели изъявить ему при-

ятную надежду, что рука его свергнет с России иго татарское: он вздумал, что мы требуем от него уничтожения нашей собственной вольности! Нет! Нет! Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братий земли русской, которыми она еще славится в мире! Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новогородцев! Еще Ахмат дерзает называть его своим данником: да идет Иоанн против монгольских варваров, и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову! Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему: „Иоанн! Ты возвратил земле русской честь и свободу, которых мы никогда не теряли. Владей сокровищами, найденными тобою в стане татарском: они были собраны с земли твоей; на них нет клейма новогородского: мы не платили дани ни Батыю, ни потомкам его! Царствуй с мудростию и славою, залечи глубокие язвы России, сделай подданных своих и наших братий счастливыми — и если когда-нибудь соединенные твои княжества превзойдут славою Новгород, если мы позавидуем благоденствию твоего народа, если Всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда —

клянемся именем отечества и свободы! — тогда придем не в столицу польскую, но в царственный град Москву, как некогда древние новогородцы пришли к храброму Рюрику, и скажем не Казимиру, но тебе: ‚Владей нами! Мы уже не умеем править собою!'"

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идет мимо нас сей печальный жребий! Будь всегда достоин свободы — и будешь всегда свободным! Небеса правосудны и ввергают в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твое пылает любовию к отечеству и к святым уставам его, когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства!

Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новогородцев, если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы, то скоро ударит последний час нашей вольности и *вечевой колокол* — древний глас ее — падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бледному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород, что с утратою вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окриляет суда новогородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся… Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные Концы твои, широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: “Здесь был Новгород!..”»

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! Мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса. — Новгород — государь наш! Да явится Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступ-

лении гнева попирает оковы ногами, взывая: «Новгород — государь наш! Война, война Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого князя и требует внимания, дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак, да будет война между великим князем Иоанном и гражданами новогородскими! Да возвратятся *клятвенные грамоты*[19]! Бог да судит вероломных!..» Марфа вручает послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и *знамя мира*. Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дружина… Марфа следует за ним взором своим, опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестию взирает на Новгород. Железные опоры стучат на городских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге, провождаемый своими воинами. Вечерние лучи солнца угасли на их блестящем оружии.

Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мя-

[19] Notes: 19

Клятвенными грамотами назывались дружественные трактаты. При объявлении войны надлежало всегда возвращать их. *Прим. авт.*

теж народа (который, подобно бурным волнам, стремился по стогнам и беспрестанно восклицал: «Новгород — государь наш! Смерть врагам его!»), внимая грозному набату, который гремел во всех пяти Концах города (в знак объявления войны), сия величавая жена подъемлет руки к небу, и слезы текут из глаз ее. «О тень моего супруга! — тихо вещает она с умилением. — Я исполнила клятву свою! Жребий брошен: да будет, что угодно судьбе!..» Она сходит с Вадимова места.

Вдруг раздаются треск и гром на Великой площади… Земля колеблется под ногами… Набат и шум народный умолкают… Все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место… Сильный порыв ветра разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что высокая башня Ярославова, новое гордое здание народного богатства, пала с *вечевым колоколом* и дымится в своих развалинах…[20] Пораженные сим явлением, граждане безмолвствуют… Скоро тишина прерывается голосом внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глубокой пещеры: «О Новгород! Так падет слава твоя! Так исчезнет твое вели-

[20] Notes: 20

Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа. *Прим. авт.*

чие!..» Сердца ужаснулись. Взоры устремились на одно место; но след голоса исчез в воздухе вместе со словами; напрасно искали, напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говорили: *«Мы слышали!»* — никто не мог сказать, от кого. Именитые чиновники, устрашенные народным впечатлением более, нежели самим происшествием, всходили один за другим на Вадимово место и старались успокоить граждан. Народ требовал мудрой, великодушной, смелой Марфы; посланные нигде не могли найти ее.

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы; сильный ветер беспрестанно задувал их, беспрестанно надлежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысяцкие и бояре ревностно трудились с гражданами: отрыли *вечевой колокол* и повесили на другой башне. Народ хотел слышать священный и любезный звон его — услышал и казался покойным. Степенный посадник распустил *вече*. Толпы редели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между собою; но скоро настала всеобщая тишина, подобно как на море после бури, и самые огни в домах (где жены новогородские с беспокойным любопытством ожидали отцов, супругов и детей) один за другим погасли.



КНИГА ВТОРАЯ



В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Ильменя жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы-посадницы, некогда знатнейшей из бояр новогородских. Он семьдесят лет служил отечеству: мечом, советом, добродетелью, и наконец захотел служить Богу единому в тишине пустыни; торжественно простился с народом на вече, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новогородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Златая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания.

Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Новагорода или о радостях и печалях ее сердца. Сошедши с Вадимова места

при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом и нашла его стоящим на коленях пред уединенною хижиною: он совершал вечернее моление. «Молись, добродетельный старец! — сказала она. — Буря угрожает отечеству». — «Знаю», — ответствовал пустынник и с горестию указал рукою на небо[21]. Густая туча висела и волновалась над Новаградом; из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами пари́ли над златыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих… Марфа твердым голосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось: если Новуграду до́лжно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей?» Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностию. «Великая дочь моего сына! — вещал он с умилением. — Последняя отрасль нашего славного рода! В тебе пылает кровь Мо-

[21] Notes: 21

В старину хотели всегда читать на небе предстоящую гибель людей. *Прим. авт.*

линских: она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами; посвятив его Небу, еще люблю славу и вольность Новаграда… Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары Всевышней десницы? Душа моя содрогается: я предвижу бедствия!..» — «Судьба людей и народов есть тайна провидения, — ответствует Марфа, — но дела зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан в руке моей: они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует! Самая опасность веселит ее… Чтобы не укорять себя в будущем, потребно только действовать благоразумно в настоящем, избирать лучшее и спокойно ожидать следствий… Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага, но до́лжно поручить его вождю надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий[22] во гробе; в сынах моих нет духа воинского; я воспитала их усердными гражданами: они могут умереть за отечество, но единое Небо вливает в сердца то пламенное геройство, которое повелевает роком в день битвы». — «Разве мало славных витязей в Новеграде? — сказал Феодосий. — Ужас Ливонии, Георгий Смелый…» — «Переселился

[22] Notes: 22
Муж ее. *Прим. авт.*

к отцам своим». — «Победитель Витовта, Владимир Знаменитый…» — «От старости меч выпал из руки его». — «Михаил Храбрый…» — «Он враг Иосифа Делинского и Борецких; может ли быть другом отечества?» — «Димитрий Сильный…» — «Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним». — «Кто ж будет главою войска и щитом Новаграда?» — «Сей юноша!» — ответствует посадница, указав на Мирослава… Он снял пернатый шлем с головы своей; заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу.

«Никто не знает его родителей, — говорит Марфа, — он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава[23], рано удивлял старцев своею мудростию на вечах, а витязей — храбростию в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влеклось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следовал. Он сирота в мире, но Бог любит сирых, а Новгород — великодушных. Их именем ставлю юношу на степень

---

[23] Notes: 23
Так называлось всегда главное училище в Новегороде. *Прим. авт.*

величия, их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня драгоценнее в свете: вольности и Ксении! Так, он будет супругом моей любезнейшей дочери! Тот, кто опасным и великим саном вождя обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не должен быть чуждым роду Борецких и крови моей… Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши: он клянется победою или смертию оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благослови, муж святой и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении любит одно отечество! Сей союз достоин твоей правнуки: он заключается в день решительный для Новаграда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть или будущий спаситель отечества, или обреченная жертва свободы!»

Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец дрожащею рукой снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника! Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе; Ратьмир, предок мой, изобразил на нем златыми буквами слова: “Никогда врагу не достанется”…» Мирослав взял

сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал: «Исполню условие!» Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя московского, о верных и неверных союзниках Новаграда и сказала наконец юноше: «Возвратимся, буря утихла. Народ покоится в великом граде, но для сердца моего уже нет спокойствия!» Старец проводил их с молитвою.

Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила: «Народ! Сей витязь есть небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во мраке таинства, но благословение Всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем Небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец отечества, и сердце его сильно бьется при имени свободы. Вам известны подвиги Мирославовой храбрости… (Марфа с жаром и красноречием описала их.) Сограждане! — сказала она в заключение. — Кого более всех должен ненавидеть князь московский, тому более всех можете верить: *я признаю Мирослава достойным вождем новогородским!..* Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду: счастие ласкает

юность!..» Народ поднял вверх руки: Мирослав был избран!.. «Да здравствует юный вождь сил новогородских!» — восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его своими знаменами. Иосиф Делинский, друг Марфы, вручил юноше златой жезл начальства. Старосты пяти Концов новогородских стали пред ним с секирами, и тысяцкие, громогласно объявив собрание войска, на лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Димитрий Сильный обнимал Мирослава, называя его своим повелителем, но Михаил Храбрый, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Марфа и Делинский великодушно спасли его: они уважали в нем достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу.

Марфа от имени Новаграда написала убедительное и трогательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы наши, — говорила она, — жили всегда в мире и дружбе; у них было *одно* бедствие и счастие, ибо они *одно* любили и ненавидели. Братья по крови славянской и вере православной, они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин в Новегороде

забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской: “Сердце на Великой[24], душа на Волхове”. Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам; если страны дальние от нас сведали имя ваше; если условия, заключенные великим градом с Великою Ганзою, оживили торговлю псковскую; если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские и если ни хищность татар, ни властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию (ибо щит Новаграда осенял друзей его), то хвала единому Небу! Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для отплаты за добро новогородское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного: гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным. Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе, мы уже назначили пред градом место для верной дружины псковской». Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею.

---

[24] Notes: 24
Имя псковской реки. *Прим. авт.*

Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты, в шелковых красных мантиях, шли впереди; за ними граждане десяти вольных городов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках, на серебряных блюдах, златые слитки и камни драгоценные. Они приближились к Вадимову месту и поставили блюда на ступени его. *Ратсгер* города Любека *требовал сло́ва* — и сказал народу: «Граждане и чиновники! Вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Новуграду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностию, славимся приязнию новогородскою; знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники! Примите усердные дары добрых гостей иностранных, не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаменами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей. Нас семьсот человек в великом граде: все выйдем в поле — и клянемся верностию немецкою, что умрем или победим с вами!» Народ с живейшею благодарностию принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал

оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион; Марфа назвала его *дружиною великодушных,* и граждане общим восклицанием подтвердили сие имя.

Уже среди шумных воинских приготовлений день склонялся к вечеру — и юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные: они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу!.. Злополучная!.. Так юный невинный пастырь, еще озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его!.. Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения умела наслаждаться только одною своею ангельскою непорочностию и ничего более не желала; никакое тайное движение сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое счастие. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся на юношей новогородских, то она краснела, не зная причины: стыдливость есть тайна невинности и добродетели. Любить мать и свято исполнять ее волю, любить братьев и милыми ласками доказывать им свою нежность было единственною потребностию сей

кроткой души. Но судьба неисповедимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человеческих; прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостию и великодушием: она была славянка!.. Искра едва на земле светится: сильный ветер развевает из нее пламя.

Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят с богатым нарядом: подают Ксении одежду алую, ожерелье жемчужное, серьги изумрудные; произносят имя матери ее, и дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягчается душой и дает волю слезам материнской горячности… Может быть, тайное предчувствие в сию минуту омрачило сердце ее; может быть, милая дочь казалась ей несчастною жертвою, украшенною для алтаря и смерти! Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей; наконец укрепилась силою мужества и сказала: «Радуйся, Ксения! Сей день есть счастливейший в жизни твоей: нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном!..» Она ведет ее в храм Софийский.

Уже народ сведал о сем знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами прово-

жал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапною переменою судьбы своей… Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство; напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури… Уже Ксения стоит пред алтарем подле юноши; уже совершается обряд торжественный; уже она супруга, но еще не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее… О слава священных прав матери и добродетельной покорности дев славянских!.. Сам Феофил[25] благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая, с нежностию обнимая дочь свою и Мирослава, в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делинский именем всех граждан звал юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей, — говорил он, — отечество признаёт тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских да живет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатию и где Новгород желает ныне угостить новобрач-

[25] Notes: 25
Тогдашний епископ новогородский. *Прим. авт.*

ных!..» — «Нет, — ответствовала Марфа, — еще меч Иоаннов не преломился о щит Мирослава или не обагрился его кровию за Новгород!.. — И тихо примолвила: — О верный друг Борецких! Хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего семейства!» — Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу, жёны знаменитые усыпáли ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению (и Новгород никогда еще не видал столь прелестной четы), впереди Марфа, за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забыли опасность и войну, веселие сияло на лицах; и всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим; и всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милою своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным: облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее; она взирала на всех с улыбкою приветливой благодарности.

С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял уныние и пустоту горести; теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими; везде зажига-

ются светильники серебряные, и верные слуги Борецких радостными толпами встречают новобрачных. Марфа садится за стол с детьми своими: ласкает их, целует Ксению и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Никогда милая дочь ее не казалась ей столь любезною. «Ксения! — говорит она. — Нежное, кроткое сердце твое узнает теперь новое счастие, любовь супружескую, которой все другие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная роком на одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твердость и решительность, которой могут завидовать герои!.. О дети любезные! Теперь открою вам тайну моего сердца!.. — Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились. — Было время, и вы помните его, — продолжала Марфа, — когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольности, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависит счастие и бедствие людей. О время блаженное! Твои милые воспоминания извлекают еще нежные слезы из глаз моих!.. Кто ныне узнает мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уединенная,

со смелою твердостию председает теперь в совете старейшин, является на лобном месте среди народа многочисленного, велит умолкнуть тысячам, говорит на вече, волнует народ, как море, требует войны и кровопролития — та, которую прежде одно имя их ужасало!.. Что ж действует в душе моей? Что переменило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть над умами сограждан? Любовь!.. Одна любовь… к отцу вашему, сему герою добродетели, который жил и дышал отечеством!.. Готовый выступить в поле против литовцев, он казался задумчивым, беспокойным; наконец открыл мне душу свою и сказал: “Я могу положить голову в сей войне кровопролитной; дети наши еще младенцы; с моей смертию умолкнет голос Борецких на вече, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и легкомыслен: ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для нас князь московский, который тайно желает покорить Новгород. О друг моего сердца! Успокой его! Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен славянских: клянись мне превзойти их! Клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете! Клянись быть вечным

врагом неприятелей свободы новогородской, клянись умереть защитницею прав ее! И тогда умру спокойно…” Я дала клятву… Он погиб вместе с моим счастием… Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его: я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностию воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила — и старцы с удивлением внимали словам моим; народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня; чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новаграда; враги и завистники… Но я презираю их. Все видят дела мои, но вы одни знаете теперь их тайный источник. О Ксения! Я могу служить тебе примером; но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих, но с радостию предал бы нас в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойства великого мужа: жена слабая бывает сильна одною любовию, но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: “Не страшусь тебя!” Так Ольга любовию

к памяти Игоря заслужила бессмертие; так Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях!..»

Она благословила детей и заключилась в уединенном своем тереме, но сон не смыкал глаз ее. В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери; отворяет ее — и входит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным мечом литовским, со златою на груди звездою; едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностию ответствует: «Жена новогородская не знает Казимира; я не возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню великого града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и называет *новогородскою Вандою*[26]... Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастие союзников и бедствие врагов его... Она с гордостию садится. «Казимир великодушно предлагает Новугороду свое заступление, — говорит он. — Требуйте, и легионы польские окружат вас своими щитами!.. — Марфа

---

[26] Notes: 26

О сей королеве польские летописи рассказывают чудеса. *Прим. авт.*

задумалась… — Когда же спасем вас, тогда… — Посадница быстро взглянула на него… — Тогда благодарные новогородцы должны признать в Казимире своего благотворителя — и властелина, который, без сомнения, не употребит во зло их доверенности…» — «Умолкни!» — грозно восклицает Марфа. Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует, но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель Новагорода, если Казимир не защитит его от князя московского… «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей! — с жаром ответствует Марфа. — Когда вы не были лютыми врагами народа русского? Когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему?[27] И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колена пред вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет! Если угодно Небу, то мы падем с мечом в руке пред князем московским: одна кровь течет в жилах наших; русский может покориться русскому, но чужеземцу — никогда, никогда!..

[27] Notes: 27

Сие происшествие было тогда еще ново. Владислав, король польский, едва заключив торжественный мир с султаном, нечаянно напал на его владения. *Прим. авт.*

Удались немедленно, и, если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием. Так, Марфа любима народом своим, но она велит ему ненавидеть Литву и Польшу… Вот ответ Казимиру!» Посол удалился.

На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана, и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной радости. Стук оружия раздавался на стогнах. Везде являлись граждане в шлемах и в латах; старцы сидели на Великой площади и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова: ударили в колокол — и граждане сели за них; воины клали подле себя оружие и пировали. Рука изобилия подавала яства. Борецкие угощали народ с восточною роскошию. Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними, юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство: Марфа была его матерью. Она садилась за вся-

ким столом, называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равною со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее; когда она говорила, все безмолвствовали; когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За первым столом и в первом месте сидел древнейший из новогородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского: внук с седою брадою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных: он благословил их и сказал: «Живите мои лета, но не переживайте славы новогородской!..» Сама посадница налила ему серебряный кубок вина фряжского: старец выпил его — и томная кровь начала быстрее в нем обращаться. «Марфа! — говорил он. — Я был свидетелем твоего славного рождения на берегу Невы. Храбрый Молинский занемог в стане; войско не хотело сражаться до его выздоровления. Мать твоя спешила к нему из великого града, и, когда мы разили немецких рыцарей — когда родитель твой, еще бледный и слабый, мечом своим указывал нам путь к их *святому прапору*, ты родилась. Первый вопль твой был для нас гласом победы; но Молинский

упал мертвый на тело великого магистра Рудольфа, им сраженного!.. Финский волхв, живший тогда на берегу Иовы, пророчествовал, что судьба твоя будет славна, но…» Старец умолк. Марфа не хотела изъявить любопытства.

Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу. Гости иностранные украсили Великую площадь разноцветными пирамидами, изобразив на них имена и гербы вольных городов немецких. Вокруг пирамид, в больших корзинах, лежали товары чужеземные: Марфа дарила их народу. Мраморный образ Вадимов был увенчан искусственными лаврами; на щите его вырезал Делинский имя Мирослава; граждане, увидев то, воскликнули от радости, и Марфа с чувствительностию обняла своего друга. Все новогородцы ликовали, не думая о будущем; один Михаил Храбрый не хотел брать участия в народном веселии, сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на ее подножии. Пиршество заключилось ввечеру потешными огнями.

Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал — и с печальным видом отдал письмо Марфе… «Друзья! — сказала она знаменитым гражда-

нам. — Псковитяне, как добрые братья, желают Новугороду счастия, — так говорят они, — только дают нам советы, а не войско — и какие советы? Ожидать всего от Иоанновой милости!..» — «Изменники!» — воскликнули все граждане. «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отомстим им!» — говорил народ. «Презрением!» — ответствовала Марфа, изорвала письмо и на отрывке его написала ко псковитянам: «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтись можем».

Новгород, оставленный союзниками, еще с большею ревностию начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области[28] с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Ловати, Шелоны одни за другими являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан новогородских. Усердие, деятельность и воинский разум сего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стремительному нападению в присутствии

[28] Notes: 28

Они назывались Пятинами: Водскою, Обонежскою, Бежецкою, Деревскою, Шелонскою. *Прим. авт.*

жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами Московскими возвышался холм; туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассевал облака пыли: там стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения, уже страстная, чувствительная супруга… Сердце невинное и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдается достойному юноше. Жены славянские издревле славились нежностию. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил все войско в движение, летал орлом среди полков — восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи; но чрез минуту слезы катились из глаз ее… Она спешила отирать их с милою улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов.

Пришло известие, что Иоанн уже спешит к великому граду со своими храбрыми, опытными легионами. Еще из дальних областей новогородских, от Каргополя и Двины, ожидали войска; но Верховный совет дал вождю повеление —

и Мирослав сорвал покров с *хоругви отечества*… Она возвеялась, и громкое восклицание раздалося: «Друзья! В поле!» Сердцá родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблются и выступают: первая и вторая состояли из знаменитых граждан новогородских и людей житых; одежда их отличалась богатством, оружие — блеском, осанка — благородством, а сердца — пылкостию; каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил Храбрый шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! Повелевай сими мужами знаменитыми!» Михаил хотел взглянуть на него с гордостию, но взор его изъявил чувствительность… «Юноша! Я — враг Борецких!..» — «Но друг славы новогородской!» — ответствовал Мирослав, и витязь обнял его, сказав: «Ты хочешь моей смерти!» За сим легионом шла *дружина великодушных* под начальством ратсгера любекского. Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим жертвенником, с надписью: «Дружба и благодарность!» Они вместе с новогородцами составляли *большой полк,* онежцы и волховцы — передовой, жители Деревской области — *правую,* шелонские — *левую руку,*

а невские — *стражу*[29]. Мирослав велел войску остановиться на равнине… Марфа явилась посреди его и сказала:

«Воины! В последний раз да обратятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный: судьба его написана теперь на щитах ваших! Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою, то счастливы и родители, и жены новогородские, которые обнимут детей и супругов; если возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы!.. Тогда живые позавидуют мертвым!

О воины великодушные! Вы идете спасти отечество и навеки утвердить благие законы его; вы любите тех, с которыми должны сражаться, но почто же ненавидят они величие Новаграда? Отразите их — и тогда с радостию примиримся с ними!

Грядите — не с миром, но с войною для мира! Доныне Бог любил нас; доныне говорили народы: “Кто против Бога и Великого Новаграда!” Он с вами: грядите!»

Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав

[29] Notes: 29

Так разделялись тогда армии. Большим полком назывался главный корпус, а стражею или сторожевым полком — арьергард. *Прим. авт.*

вырвался из объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом — и войско двинулось, громко взывая: «Кто против Бога и Великого Новаграда!» Знамена развевались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота — и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи. Жены новогородские не могли удержать слез своих, но Ксения уже не плакала и с твердостию сказала матери: «Отныне ты будешь моим примером!»

Еще много жителей осталось в великом граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. *Торговая сторона*[30] опустела: уже иностранные гости не раскладывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз; огромные хранилища, наполненные богатствами земли русской, затворены; не видно никого на *месте княжеском,* где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских, — и Новгород, шумный и воинственный за несколько дней пред тем, кажется великою обителию мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи: священники

[30] Notes: 30
Часть города, где жили купцы. *Прим. авт.*

не снимают риз, свечи не угасают пред образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах и молебное пение не умолкает на крылосах, народ толпится в церквах, старцы и жены преклоняют колена. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга… Так народ дерзко зовет к себе опасности издали; но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен! Одни чиновники кажутся спокойными — одна Марфа тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи. Ксения ходила с матерью даже в Совет верховный.

Первый гонец Мирославов нашел их в саду; Ксения поливала цветы, Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность; что все именитые витязи уверяют его в дружбе, и всех более Димитрий Сильный; что Иоанн соединил полки́ свои с тверскими и приближается; что славный воевода московский,

Василий Образец, идет впереди и что Холмский есть главный по князе начальник. Второй гонец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоаннова войска и взяли в плен пятьдесят московских дворян. С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаемся». Тут сердце Марфы наконец затрепетало: она спешила на Великую площадь, сама ударила в *вечевой колокол,* объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце восходило… Уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил вечер… И Марфа сказала: «Я вижу облака пыли». Все руки поднялись к небу… Марфа долго не говорила ни слова… Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит! Иоанн — победитель!» — и бросилась в объятия к несчастной Ксении.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами: так издревле возили новогородцы тела убитых вождей своих…

Безмолвие мужей и старцев в великом граде было ужаснее вопля жен малодушных… Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата Московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю — с горестию, но без стыда, — люди житые и воины чужеземные; кровь запеклась на их оружии; обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сению знамен, над телом вождя, сидел Михаил Храбрый, бледный, окровавленный; ветер развевал его черные волосы, и томная глава склонялась ко груди.

Колесница остановилась на Великой площади… Граждане обнимали воинов, слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с ви-

дом сердечного дружелюбия; он не мог идти; чиновники взнесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава… На бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти… «Счастливый юноша!» — произнесла она тихим голосом и спешила внимать Храброму Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери: «Будь покойна: я дочь твоя!»

На щитах посадили витязя, от ран ослабевшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом:

«Народ и граждане! Разбито воинство храброе, убит полководец великий! Небо лишило нас победы — не славы!

На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. “Увидимся на поле ратном!” — ответствовал гордый юноша — и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах Шелонских: там Образец, славный воевода московский, принял их удары на щит свой… Мы шли в средине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди наблюдал движения и силу врагов. Воинство Иоанново

было многочисленнее нашего; необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя московского на белом коне, видели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце новогородское, на *хоругвь отечества,* видели князя Холмского, с сильным отрядом идущего окружить нас… Мирослав повелел, и стража невская с Димитрием Сильным двинулись навстречу к нему. Вероломный!.. Еще онежцы и волховцы не могли занять бугров Шелонских: меч витязя Образца дымился их кровию. Мирослав, пылая нетерпением, летел туда на бурном коне своем; мы взглянули — и знамена новогородские уже развевались на холмах — и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника московского. Тогда, воскликнув громогласно: “Кто против Бога и Великого Новаграда?”, все ряды наши устремились в битву и сразились… На всей равнине затрещало оружие и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба братий есть самая ужасная!.. Тысячи падали, но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностию заступить место убитого и безжа-

лостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколебимою, новогородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие — за честь и вольность: мы шли вперед!.. за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь московский был окружен знаменитыми витязями; Мирослав рассек сию крепкую ограду, поднял руку — и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в главу — и шлем распался на части; он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы — и скоро главная дружина московская замешалась. Новогородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоанново гремело за нами… Мы с удивлением обратили взор: князь Холмский с тылу разил левое крыло новогородское… Димитрий изменил согражданам!.. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шелонцев: он помог им только умереть великодушнее! Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин новогородский служил ему щитом. Он увидел

Димитрия среди московской дружины — последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского, но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее…»

Тут ослабел голос Михаила, взор помрачился облаком, бледные уста онемели, меч выпал из руки его, он затрепетал — взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои… Чиновники положили тело его на колесницу, рядом с Мирославовым.

«Народ! — сказал Александр Знаменитый, старший из витязей. — Благослови память Михаила! Он вышел из битвы с *хоругвию отечества,* с телом Мирослава, обагренный кровию бесчисленных врагов и собственною; собрал остатки храбрых людей житых, *дружины великодушных* и в самом бедствии казался грозным Иоанну — враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом: они купили ее смертию славнейших московских витязей. Народ и чиновники! Многие новогородцы погибли славно — радуйтесь! Некоторые спаслися бегством — презирайте малодушных! Мы живы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан: их осталось менее половины, все они легли вокруг

хоругви отечества». — «Сочтите нас! — сказал начальник *дружины великодушных,* — из семисот чужеземных братий новогородских видите третию часть: все они легли вокруг Мирослава».

«Убиты ли сыны мои?» — спросила Марфа с нетерпением. «Оба», — ответствовал Александр Знаменитый с горестию. «Хвала Небу! — сказала посадница. — Отцы и матери новогородские! Теперь я могу утешать вас!.. Но прежде, о народ, будь строгим, неумолимым судиею и реши судьбу мою! Унылое молчание царствует на Великой площади; я вижу знаки отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожалеют о том, что они не упали на колена пред Иоанном, когда Холмский объявил нам волю его властвовать в Новегороде; может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную!.. Пусть говорят враги мои, и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостию кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости!..»

«Нет! Нет! — воскликнул народ в живейшем

усердии. Мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанновы? Пусть говорят они: “Мы пошлем их головы к князю московскому!”» Отцы, которые лишились детей в битве Шелонской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и говорили: «Прости нам! Мы плакали!..» Слезы текли из глаз Марфы. «Народ! — сказала она. — С такою душою ты еще не побежден Иоанном! Нет величия без опасностей и бедствия: Небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над великим градом, но отцы наши не опускали мечей — и мы родились свободными. Издревле счастие воинское славится превратностию. Новгород видал тела полководцев на лобном месте, видал надменного врага пред стенами своими: кто ж входил в них доныне? Одни друзья его. Народ великодушный! Будь тверд и спокоен! Еще не все погибло! Борецкая жива и говорит с тобою! Когда железные ступени перестанут звучать под ногами моими, когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя зна́ком, что Марфа при свете ее мыслит о благе Новаграда, тогда, тогда скажи: “Все погибло!..” Теперь,

друзья-сограждане, воздадим последнюю честь вождю Мирославу и витязю Михаилу! Чиновники ваши пекутся о безопасности града». Она дала знак рукою — и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и тысяцкий положили тела во гробы.

Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в великом граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти в домы свои — боялись вопля жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения, стояли пред Вадимовым местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают!» Ксения молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михаилов, и воины с окровавленными знаменами окружали их. Горесть изображалась на лицах, никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новаграда положил во гробы *хартию*

славы[31]!.. Их опустили в землю под веянием *хоругви отечества*. Посадница стала на могилу; она держала в руке цветы и говорила: «Честь и слава храбрым! Стыд и поношение робким! Здесь лежат знаменитые витязи: совершились их подвиги; они успокоились в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отечество должно им вечною благодарностию. О воины новогородские! Кто из вас не позавидует сему жребию! Храбрые и малодушные умирают; блажен, о ком жалеют верные сограждане и чьею смертию они гордятся! Взгляните на сего старца, родителя Михаилова: согбенный летами и болезнями, бесчадный при конце жизни, он благодарит Небо, ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию вдовицу юную: брачное пение соединилось для нее с гимнами смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер за отечество… Народ! Если Всевышнему угодно сохранить бытие твое, если грозная туча рассеется над нами и солнце озарит еще торжество свободы в Новегороде, то сие место да будет для тебя священно! Жёны знаменитые да украшают его цветами, как я теперь украшаю ими

[31] Notes: 31
На сих хартиях изображались славные дела усопшего. *Прим. авт.*

могилу любезнейшего из сынов моих (Марфа рассыпала цветы)… и витязя храброго, некогда врага Борецких; но тень его примирилась со мною: мы оба любили отечество!.. Старцы, мужи и юноши да славят здесь кончину героев и да клянут память изменника Димитрия!» — «Клятва, вечная клятва его имени и роду!» — воскликнули все чиновники и граждане. И брат Димитрия упал мертвый в толпе народной, и супруга его отчаянная бросилась в шумную глубину Волхова.

Уже легионы Иоанновы приближались к великому граду и медленно окружали его: народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым шатром увенчанный, стоял пред вратами Московскими — и Степенный тысяцкий отправился послом к Иоанну: новогородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя и спокойно ожидала его ответа. Тысяцкий возвратился с лицом печальным: она велела ему объявить всенародно успех посольства… «Граждане! — сказал он. — Ваши мудрые чиновники думали, что князь московский, хотя и победитель, но самою победою, трудною и случайною, уверенный в великодушии новогородском, мо-

жет еще примириться с нами… Бояре ввели меня в шатер Иоанна… Вы знаете его величие: гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня рабского унижения… “Князь Московский! — я вещал ему. — Новгород еще свободен! Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольность: хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей: отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя — возьми наши сокровища: завтра принесем их в стан твой с радостию, ибо кровь сограждан нам драгоценнее злата, но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами — и мы назовем тебя своим благотворителем, скажем: «Иоанн мог лишить нас верховного блага и не сделал того; хвала ему». Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением, а мы еще дышим и владеем оружием; знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новаграда, доколе древние стены его не опустеют или не примут в себя жителей, чуждых крови нашей!” — “Покорность без условия или гибель

мятежникам!” — ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. — Я удалился».

Марфа предвидела действие: народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Александру Знаменитому вручили жезл начальства — и битвы начались…

Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие мужества и число благоприятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность: юноши, самые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и воины московские не чувствовали ослабления в ударах противников. С торжеством возглашалось имя великого князя; иногда, хотя и редко, имя вольности и Марфы бывало также радостным кликом победителей (ибо вольность и Марфа одно знаменовали в великом граде). Часто Иоанн, видя славную гибель упорных новогородцев, восклицал горестно: «Я лишаюсь в них достойных моего сердца подданных!» Бояре московские советовали ему удалиться от града, но великая душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хотите ли, — он с гневом ответствовал, — хотите ли, чтобы я венец Моно-

маха положил к ногам мятежников?..» И суровые муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы спешили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась *дружина княжеская,* из храбрых дворян состоящая, и знамена ее (на которых изображались слова: «С нами Бог и государь!») дымились кровию.

Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новегороде воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! — говорил он. — Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?..» — «Небо, — ответствовала посадница. — Влажная осень наступает; блата, нас окружающие, скоро обратятся в необозримое море; всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке *хоругвь отечества*; иногда, видя отступление новогородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный!» Казалось, что сия невинная, кроткая душа веселилась

ужасами кровопролития — столь чудесно действие любви! Сии ужасы живо представляли ей кончину друга: Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обагренным кровию Мирослава; огненный взор ее звал все мечи, все удары новогородские на главу московского полководца, но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелию на смелых противников. Александр Знаменитый с веселием спешил на ратное поле, с видом горести возвращался; он предвидел неминуемое бедствие отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела.

В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу, и при восходе солнца ударили в *вечевой колокол*. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на Вадимово место: Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно,

обнимал знатных чиновников и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное! Приими снова в недра свои Феодосия!.. В счастливые дни твои я молился в пустыне, но братья мои гибнут, и мне до́лжно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и рода Молинских!..» Иосиф Делинский, провождаемый тысяцкими и боярами, несет златую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником великого града! Исполни усердное желание Верховного совета! С радостию уступаю тебе мое достоинство: я могу владеть оружием; могу умереть в поле!.. Народ! Народ! Объяви волю свою!..» — «Да будет! Да будет!» — громогласно ответствовали граждане — и Марфа сказала: «О славное торжество любви к отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал, как мертвого, воскресает для его служения! Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанность гражданина: оставляет мирную пристань и хочет делить с нами опасности времен бурных! Народ и граждане! Можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда Небо уступает нам своего избран-

ного, когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в Верховном совете? Возвратился Феодосий — возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминание минувших бедствий, искусивших твердость сердец новогородских, обратится во славу нашу, и мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастие великих народов!»

Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в великом граде; они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие, но он мог служить отечеству только усердными обетами чистой души своей — и бесполезными: ибо суды Вышнего непременны!

Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ: Марфа приготовила великолепное пиршество, и граждане еще дерзнули веселиться! Еще дух братства оживил сердца! Они веселились на могилах,

ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев.

Скоро открылось новое бедствие; скоро в великом граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к отечеству терпеливо сносило недостаток: народ едва питался и молчал. Осень наступила, ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов; всё еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления… Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя свое… Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изобилия и дарами земными: когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами; она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица, — и народ еще благословлял

ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании… Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорства посадницы и Делинского; некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский грозно подымал руку, столетний Феодосий седыми власами отирал слезы свои. Марфа вступала в храмину совета — и все снова казались твердыми. Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко видали по ночам, при свете луны, старца Феодосия, стоящего на коленях пред храмом Софийским; юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее, во время тишины и мрака, любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами: там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тению и давала ему отчет в делах своих.

Наконец ужасы глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новогородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое,

говорила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими и что великодушное терпение есть должность их… В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть; с изнурением телесных сил и самая душа его ослабела; казалось, что все погасло в ней и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокою, честолюбивою, бесчеловечною… Она содрогнулась… Тайные друзья Иоанновы кричали пред домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой: он возвратит изобилие Новуграду, она хочет обратить его в могилу!..» Марфа, гордая, величавая, вдруг упадает на колена, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее… Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют… «В последний раз, — вещает она, — в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней! Отчаяние да будет нашею силою! Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и Небо да решит судьбу нашу!..» Все воины в одно мгновение обнажили мечи свои, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились, многие сами упали

на колена пред Марфою, называли ее *материю новогородскою* и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата Московские отворились, воины спешили в поле: она вручила *хоругвь отечества* Делинскому, который обнял своего друга и, сказав: «Прости навеки!», удалился.

Войско Иоанново встретило новогородцев… Битва продолжалась три часа, она была чудесным усилием храбрости… Но Марфа увидела наконец *хоругвь отечества* в руках Иоаннова оруженосца, знамя *дружины великодушных* — в руках Холмского, увидела поражение своих, воскликнула: «Совершилось!», прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов — и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее.

Делинский погиб в сражении, остатки воинства едва спаслися. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей; она растворила окно, сказала: «Делайте что хотите!» — и закрыла его. Феодосий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну: Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал наконец все области, желая

единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь, при свете факелов, объявил гражданам решительный ответ великого князя… Взор их невольно искал Марфы, невольно устремился на высокий терем ее: там угасла ночная лампада! Они вспомнили слова посадницы… Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласия на требование Иоанна; наконец друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю московскому; он будет отцом Новаграда». Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане в сию последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее: «Кто они?» — еще с тайным удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские!» Везде было движение, огни не угасали в домах: только в жилище Борецких все казалось мертвым.

Солнце восходило — и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне под *хоругвию* новогородскою, среди воинского стана, полководцев и бояр

московских; взор его сиял величием и радостию. Феодосий медленно приближался к трону; за ним шли все чиновники великого града. Посадник стал на колена и вручил князю серебряные ключи от врат Московских — тысяцкие преломили жезлы свои, и старосты пяти Концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новаграда!» — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь всея России и Новаграда!..» — «Государь! — продолжал старец. — Судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы! Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными, ибо сердца русские не знают измены, и клятва их надежна. Твори, что угодно владыке самодержавному!..» Иоанн дал знак рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть правосудие и милость! — вещал он. — Милость всем чиновникам и народу…» — «Милость! Милость!» — воскликнули бояре московские. «Милость! Милость!» — радостно повторяло все войско: казалось, что

она *ему* была объявлена, — столь добродушны русские! Одни чиновники новогородские стояли в мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами, — сказал Иоанн, — кого наказал он, того милую! Идите; да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата Московские и принял начальство над градом: окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям.

Друзья Борецких хотели видеть Марфу: она и дочь ее сидели в тереме за рукодельем… «Не бойся мести Иоанновой, — сказали друзья, — он всех прощает…» Марфа ответствовала им гордою улыбкою — и в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, что князь московский уважает Борецкую: он считает ее врагом опасным! Простите!.. Вам еще можно жить…» Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою; посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость

ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа! Государь поверит одному слову твоему…» — «Вот оно, — ответствовала посадница, — пусть Иоанн велит умертвить меня и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новаграда!..» Князь, благородный сердцем, вышел, удивляясь ее великодушию. Граждане толпились вокруг дома Борецких: напрасно воины хотели удалить их; но вдруг раздался звон колокольный во всех пяти Концах — и народ, всегда любопытный, забыл на время судьбу Марфы: он спешил навстречу к Иоанну, который с величием и торжеством въезжал в Новгород под сению *хоругви отечества,* среди легионов многочисленных, в венце Мономаха и с мечом в руке.

Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон колокольный и громкие восклицания: «Да здравствует государь всея России и Великого Новаграда!..» — «Давно ли, — сказала она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с нежным умилением смотрела ей в глаза, — давно ли сей народ славил Марфу и вольность? Теперь он увидит кровь мою и не покажет слез своих, иногда с горестию будет воспоминать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу его, и только слабые, хладные следы бытия

моего останутся в преданиях суетного любопытства!.. И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни… кому? — неблагодарным! Я могла бы наслаждаться счастием семейным, удовольствиями доброй матери, богатством, благотворением, всеобщею любовию, почтением людей и — самою нежною горестию о великом отце твоем, но я все принесла в жертву свободе моего народа: самую чувствительность женского сердца — и хотела ужасов войны; самую нежность матери — и не могла плакать о смерти сынов моих!.. (Тут *в первый раз* глаза Марфы наполнились слезами *раскаяния*…) Прости мне, тень великодушного супруга! Сие движение было последним гласом женской слабости. Я клялась заступить твое место в отечестве и, конечно, исполнила клятву свою, ибо князь московский считает меня достойною погибнуть вместе с вольностию новогородскою! Ты позавидовал бы моей доле, если бы еще дышал для отечества; самая неблагодарность народа возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы: награда признательности уменьшает ее… Теперь я спокойно ожидаю смерти!.. Знаю Иоанна, он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость нового-

родскую: кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую?.. Герои древности, побеждаемые силою и счастием, лишали себя жизни; бесстрашные боялись казни; я не боюсь ее. Небо должно располагать жизнию и смертию людей; человек волен только в своих делах и чувствах». Ксения слушала мать свою и разумела слова ее.

Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня: Феофил и духовенство встретили его со крестами. Сей великий государь принес жертву моления и благодарности Всевышнему. Все славные воеводы московские, преклонив колена, слезами изъявляли радость свою. Иоанн в доме Ярослава угостил роскошною трапезою бояр новогородских и державною рукой своею сыпал злато на беднейших граждан, которые искренно и добросердечно славили его благотворительность. Не грозный чужеземный завоеватель, но великий государь русский победил русских: любовь отца-монарха сияла в очах его.

Ввечеру многочисленные стражи явились на стогнах и повелели гражданам удалиться, но любопытные украдкою выходили из домов и видели в глубокую полночь Иоанна и Холмского, в тишине идущих к Софийскому храму; два

воина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и великий князь наклонился на могилу юного Мирослава; казалось, что он изъявил горесть и с жаром упрекал Холмского смертию сего храброго витязя… Новогородцы вспомнили тогда, что государь щитом своим отразил меч оруженосца, хотевшего умертвить Мирослава; удивлялись — и никогда не могли сведать тайны Иоаннова благоволения к юноше. Сии любопытные приведены были в ужас другим зрелищем: они видели множество пламенников на Великой площади, слышали стук секир — и высокий эшафот явился пред домом Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово и что гнев его поразит всех именитых граждан.

На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы московские были в движении, и Холмский с обнаженным мечом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там, на эшафоте, лежала секира. От Конца Славенского до места Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом; воеводы сидели на конях пред своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились: выходит Марфа в златой одежде и в белом покрывале. Старец Фе-

одосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане — на *вече*. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие, ужасная тишина царствовала; посадница остановилась пред домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала; Марфа положила руку на сердце ее — знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот — сорвала покрывало с головы своей: казалась томною, но спокойною — с любопытством посмотрела на лобное место (где разбитый образ Вадимов лежал во прахе) — взглянула на мрачное, облаками покрытое небо — с величественным унынием опустила взор свой на граждан… приближилась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою новогородскою!..» Не стало Марфы… Многие невольно воскликнули от ужаса, другие закрыли глаза рукою. Тело посадницы одели черным покровом… Ударили в бубны — и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли… Он снял пернатый шлем с головы своей и читал

громогласно следующее:

«Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре! Не ужасайтесь: Иоанн не нарушит слова; на вас милующая десница его. Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных; одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия; отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, а государь великий — отцом и главою. Народ! Не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудие* и *безопасность* суть три столпа гражданского счастия: Иоанн обещал их вам пред лицом Бога Всемогущего…»

Тут князь московский явился на высоком крыльце Ярославова дому, безоружен и с главою открытою: он взирал на граждан с любовию и положил руку на сердце. Холмский читал далее:

«Обещает России славу и благоденствие, клянется своим и всех его преемников именем, что польза народная во веки веков будет любезна и священна самодержцам российским — или да накажет Бог клятвопреступника! Да исчезнет род его, и новое, Небом благословенное поколение да

властвует на троне ко счастию людей!»[32]

Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали: «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах — и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоанново, и граждане наконец воскликнули: «Слава государю российскому!»

Старец Феодосий снова удалился в пустыню и там, на берегу великого озера Ильменя, погрёб тела Марфы и Ксении. Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне остается тайною. Из семисот немецких граждан только пятьдесят человек пережили осаду новогородскую: они немедленно удалились во свои земли. *Вечевой колокол* был снят с древней башни и отвезен в Москву: народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

---

[32] Notes: 32

Род Иоаннов пресекся, и благословенная фамилия Романовых царствует. *Прим. авт.*

Юлия



Женщины жалуются на мужчин, мужчины — на женщин. Кто прав? Кто виноват? Кому решить тяжбу? Если мне, то я, ничего не слушая и не разбирая, оправдаю… любезнейших, следственно, — женщин?.. Без сомнения. Но мужчины будут недовольны моим решением, докажут мое пристрастие, объявят, что я подкуплен… милым взором какой-нибудь Лидии, приятною улыбкою какой-нибудь Арефы, перенесут дело в Вышний суд, и приговор мой останется — увы! — без всякого действия.

Вот маленькое предисловие к следующей повести. Юлия была украшением нашей столицы; являлась — и мужчины только на нее смотрели, только ею занимались, только ее слушали. А женщины?.. Женщины тихонько говорили между собою и с лукавою усмешкою взглядывали

на Юлию, стараясь заметить в ней какой-нибудь недостаток, который хотя несколько мог бы успокоить их самолюбие. Тщетное старание! Юлия сияла, как солнце, зависть искала в ней черных пятен, не находила и с болию в глазах, с отчаянием в сердце должна была… идти прочь! Нужно ли сказывать, что все молодые люди обожали Юлию и почитали за славу обожать ее? Один вздыхал, другой плакал, третий играл ролю томного меланхолика, и обо всяком, кто задумывался, говорили: «Он влюблен в Юлию!»

Что же Юлия? Любила более всего самое себя, с гордою улыбкою смотрела направо, налево и думала: «Кто мне подобен, кто меня достоин?» Думала, прошу заметить, а не показывала. Удивляясь красоте и разуму ее, всякий удивлялся между прочим и скромности ее взоров, искусство одним милым женщинам свойственное!

Но, мало-помалу приближаясь к концу второго десятилетия жизни своей, Юлия стала чувствовать, что фимиам суетности есть дым, хотя весьма приятный, но все дым, который худо питает душу. Как ни обожай себя, как ни любуйся своими достоинствами — не довольно! Надобно любить что-нибудь, кроме магической буквы Я, — и Юлия начала с большим внимани-

ем рассматривать многочисленную толпу своих искателей. Иногда взор ее отдавал преимущество молодому Легкоуму, который в рассуждении красоты мог бы поспорить с самим Купидоном и не занимался ничем, кроме Юлии и зеркала; иногда — статному Храброну, лаврами увенчанному воину, которому недоставало только греческого платья, чтобы быть совершенным Марсом; иногда — забавному Пустослову, который, несмотря на важность судейского звания своего, вертелся на одной ноге, как Вестрис, сочинял всякий день по десяти французских каламбуров и знал наизусть лексикон анекдотов. Все — ненадолго; через минуту Легкоум казался ей безрассудным, самолюбивым мальчишкою, Храброн — видным драгуном и более ничего, Пустослов — скучною обезьяною. Наконец, глаза ее остановились на любезном Арисе, который в самом деле был любезен; весы склонились на его сторону, и сердце с разумом на сей раз согласились.

Кто был Арис? Молодой человек, воспитанный в чужих краях под смотрением не наемного гофмейстера[33], но благоразумного и нежного отца

[33] Notes: 33

Гофмейстер — придворный чин, введен в России в XVIII веке. Гофмейстеры управляли дворцовым хозяйством и штатом придворных, ведали придворным церемониалом.

своего. Полезные и приятные знания украшали его душу, добродетельные правила — сердце. Не будучи красавцем, он нравился своею миловидностию и кроткими любезными взорами, одушевленными огнем внутреннего чувства. Он краснел, как невинная девушка, от всякого нескромного слова, сказанного в его присутствии; говорил немного, но всегда основательно и приятно; не старался блистать ни умом, ни знаниями и слушал каждого, по крайней мере, с терпением. Чувствуют ли в свете цену таких людей? Редко. Там сусальное золото предпочитается иногда истинному, скромность, подруга достоинств, остается в тени своей, а дерзость заслуживает венок и рукоплескание.

Арис любил Юлию — как не любить того, что прекрасно и любезно? Но бесчисленное множество ее обожателей устрашало его. Он смотрел на нее издали, не вздыхал, не клал руки на сердце с томным видом — одним словом, не думал представлять картинного любовника, но Юлия знала, что он любил ее страстно. Дивитесь, если угодно, проницанию красавиц! Скорее не приметят они солнца на ясном небе в полдень, нежели действия своих прелестей в глазах нежного мужчины, как бы ни хотел он скрывать чувства свои.

Юлия отличала Ариса от других искателей, ободрила его застенчивость приятным взглядом, приятною улыбкою, начала с ним говорить, ласкать его, показывать уважение к его достоинствам, внимание к его словам, желание видеть его чаще. «Завтра вы будете в концерте, в саду; завтра вы будете к нам обедать, ужинать; вчера было у нас скучно: вы не хотели к нам приехать!» Арис не был из числа тех людей, которые малейшую ласку со стороны женщин принимают за доказательство любви и почитают себя счастливыми Адонисами тогда, когда об них и не думают; однако ж, несмотря на скромность свою, он позволил себе надеяться, а надежда для страсти есть то же, что тихий апрельский дождь для молодой зелени, что ветер для искры. Он готов был броситься на колени и сказать Юлии: «Будь моя навеки!», чего Юлия ожидала, чего она хотела, и, конечно, не для того, чтобы отвечать: «Нет!» — как вдруг на горизонте большого света явился новый феномен, который обратил на себя общее внимание, — молодой князь N*, любимец природы и счастия, которые осыпали его всеми блестящими дарами своими, знатный, богатый, прекрасный собою.

Во всех обществах говорили о молодом кня-

зе; все хвалили его, а более всех — женщины, особливо те, на которых он взглядывал ласковее, нежели на других, которым он сказал пять или шесть приятных слов. Не могли надивиться уму его даже и тогда, когда он говорил о погоде. Немудрено, разгоряченное воображение есть микроскоп, который все увеличивает в тысячу, в миллион раз, — и люди с таким же упрямством могут искать остроумия там, где нет его, с каким иногда не хотят чувствовать, где оно есть.

Между тем носился по городу слух, что князь нечувствителен к женским прелестям, что Амуровы стрелы не берут его сердце, что оно посредством тайной эластической силы сжимается и остается невредимо, что бедный Венерин сын, желая ранить его, опустошил колчан свой и все понапрасну. Какой вызов для самолюбия женщин! Какая слава для победительницы! И всякой из них казалось, что Купидон, огорченный, расплаканный, подходит к ней, берет ее за руку и с умиленным взором говорит: «Отмсти, отмсти за меня или я умру с горя!» Умереть Купидону! Боже мой! Какой ужас! Зачем будет жить в свете без прелестного малютки? Надобно за него вступиться, надобно помочь ему, надобно отмстить и, чего бы то ни стоило, тронуть, победить, пленить

нового Алькида; и все мастера в нашей столице занялись одною работою: кованием цепей по заказу красавиц[34]. Страшись, ветреный князь! Но князь улыбался, расхаживал, как гордый лебедь, и в одном публичном собрании встретился с Юлиею. За ним все красавицы, за нею все молодые люди, какая встреча! Они посмотрели друг на друга: какой взор! Юлия затмевала женщин, князь N* — мужчин. «Он должен любить ее!» — думали первые. «Она должна любить его!» — думали последние. Те и другие потупили глаза в землю, простились с надеждою и разошлись в разные стороны. Один Арис остался подле Юлии. Он начал говорить, ему отвечали сухо, коротко; казалось, что она была в рассеянии.

На другой день Арис приехал к Юлии, но головная боль не позволила ей выйти из своей комнаты. На третий он увидел ее на бале: князь сидел подле нее, князь танцевал с нею, князь занимал ее приятным своим разговором. Арису поклонились учтиво, — учтиво, более ничего. Спросили, здоров ли он, и не дождались ответа. Арис подошел с другой стороны — его не приме-

---

[34] Notes: 34

Вот отчего вошли в моду золотые цепи, которые за несколько месяцев перед сим гремели и сияли на всех наших молодых женщинах! *Прим. авт.*

тили — и как приметить? Он подошел не оттуда, где сидел князь. Бедный Арис! Догадайся. Ты мог быть счастлив, но минута прошла! Что делать? Удалиться. Он то и сделал; не нужно сказывать, с каким чувством… Оставим его. Пусть он поплачет в уединении и, если можно, забудет милую ветреницу.

Между тем Юлия восхищалась князем. Когда молчал, казался он ей Антиноем[35]; когда говорил — Цицероном; когда произносил: «Юлия, я обожаю тебя!» — полубогом. Он не обманывал и в самом деле пленился ее красотою так, что не хотел быть ни в одном концерте, где не пела Юлия, ни на одном бале, где не танцевала Юлия, ни на одном гульбище, где не гуляла Юлия. Он любил прежде играть в карты — для Юлии оставил их. Любил часа по три в день проводить с английскими лошадьми своими — для Юлии забыл их. Любил спать до двух часов за полдень — для Юлии переменил образ жизни и редко не просыпался в полдень, чтобы на крыльях Зефира или по крайней мере в великолепной английской карете лететь к Юлии. Такая любовь не шутка. Вы скажете, что в рыцарские времена

---

[35] Notes: 35

Антиной — славный красавец, которому император Адриан посвятил храм. *Прим. авт.*

любили иначе. Государи мои! Всякий век имеет свои обычаи: мы живем в осьмом на десять! Красавицы наши снисходительны и жалостливы, ни которая из них, сидя в ложе, не бросит перчатки на гриву разъяренного льва и не пошлет за нею своего рыцаря[36] для того, что рыцарь не пойдет за нею!

Юлия думала, что князь не мог жить без нее; только ей казалось чудно́, что он, говоря беспрестанно о сердце, никогда не упоминал о руке. Многие из приятельниц тихонько поздравляли ее с таким завидным женихом, но жених молчал. Наконец, она дала ему почувствовать свое удивление. Нежный князь оскорбился.

— Юлия сомневается в силе прелестей своих! — сказал он с жаром. — Юлия хочет променять огненного Амура на холодного Гименея! Милую улыбку первого — на вечную угрюмость последнего! Гирлянду розовую — на цепь железную! О Юлия! Любовь не терпит принуждения, одно слово — и все блаженство исчезнет! Мог ли бы Петрарка в узах брака любить свою Лауру так пла-

---

[36] Notes: 36

Это случилось во Франции, при короле Франциске I, в то время, когда звериные сражения были любимою забавою двора. Одна молодая дама, сидя в амфитеатре, нарочно уронила перчатку свою на то место, где сражались львы, и сказала рыцарю Делоржу: «Подними ее или ты меня не любишь!» *Прим. авт.*

менно? Ах нет! Воображение его не произвело бы ни одного из тех нежных сонетов, которыми я восхищаюсь. Так любить до́лжно, и такой любви достойна Юлия!

Между тем Юлия побледнела. Князь увидел, что его философия ей не нравится; надобно было переменить язык, чтобы успокоить красавицу.

— По крайней мере, — сказал он, — продлим, сколько можно, время любви нашей, оно уже никогда, никогда не возвратится, прелестная Юлия! — Тут он вздохнул.

Юлия не могла с ним согласиться, она требовала верного слова. Князь дал его и в награждение за то хотел, чтобы она позволила ему некоторые вольности в обхождении. Всякий день присваивал он себе новое право… Два жарких сердца бились так сильно, так близко друг ко другу… Но скромность есть нужная добродетель и для самого сказочника. К тому же, не знаю отчего, собственное сердце мое бьется так сильно, когда я воображаю себе подобные сцены… Может быть, какие-нибудь темные воспоминания… Оставим.

Оставим все подробности и скажем просто, что бывали минуты, в которые одна богиня невинности могла спасти Юлиину невинность. Она почувствовала опасность, и князь принуж-

ден был назначить день для торжественной помолвки. В ожидании сего дня он истощил все возможные хитрости, чтобы победить ее твердость, но тщетно! В самое то время, когда ей по всем человеческим вероятностям надлежало забыться, она строгим взором отсылала его от себя, по крайней мере шага на два, так, что он лишался своей надежды быть счастливо-дерзким без имени супруга.

Однажды поутру, когда Юлия открыла глаза и с первою мыслию представила себе любезного своего князя, вручили ей письмецо следующего содержания:

«Вы любезны, но что любезнее вольности? Мне горестно расстаться с Вами, но мысль о вечной обязанности еще горестнее. Сердце не знает законов и перестает любить, когда захочет. Что ж будет супружество? Несносное бремя. Вы не хотели любить по-моему, любить только для удовольствия любви, любить, пока любишь, итак, простите! Называйте меня вероломным, если угодно, но давно говорят в свете, что клятва любовников пишется на песке и что самый легкий ветерок завевает ее. Впрочем, с такими милыми свойствами, с такими прелестями вам нетрудно найти достойного супруга… может быть, верного,

постоянного! Родятся Фениксы, но я в сем смысле не Феникс и потому оставляю Вас в покое. Меня уже нет в Москве. Простите! Князь N*».

Юлия затрепетала и, следуя обыкновению новых Дидон[37], упала в обморок. Через несколько минут опомнилась для того, чтобы опять забыться. Наконец, собрав силы свои, она нашла *для* себя некоторое облегчение в том, чтобы проклинать мужчин: «Они все изверги, злодеи, вероломные; тигрица воспитала их молоком своим; под языком носят они змеиный яд, а в сердце их шипит ехидна[38]. Слезы их — слезы крокодиловы; поверь им — и гибель неизбежна!» Такими нежными красками писала портрет наша отчаянная Юлия. Извинительно, но справедливо ли? В одну ли форму отлиты сердца мужчин? Могут ли все отвечать за одного?.. Но человек в страсти худой логик: один кажется ему всеми и все — одним.

Не позже как на другой день узнали в городе о разрыве наших любовников. «Князь N* оставил Юлию!» — говорили мужчины, пожимая

---

[37] Notes: 37

Дидона — героиня поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия, карфагенская царица, влюбленная в троянского героя Энея и покинутая им.

[38] Notes: 38

В XVIII–XIX веках ехидной называли ядовитую змею вообще.

плечами. «Князь N* оставил Юлию», — говорили женщины с коварною улыбкою, и всякая из них думала: «Меня бы он не оставил!» Как показаться в свете? Юлия возненавидела его и несколько времени не выходила из своего кабинета.

Недели через две после сей истории приехал к ней Арис. Она подумала… и велела его пустить. Бедный Арис! Он должен был страдать вместе со всеми мужчинами от стрел Юлиина красноречия и слушать с видом кающегося преступника, когда бранили непостоянство и вероломных! Другой на его месте взглянул бы на Юлию такими глазами, что она, конечно бы, закраснелась и замолчала, но добрый Арис любил, не мог преодолеть страсти своей и приехал не для того, чтобы мстить огорченной красавице. Юлия довольна была его посещением; желала видеть его в другой, в третий раз — и через несколько времени сердце ее перестало кипеть гневом на мужчин. Арисова нежность, кротость, сердечные достоинства, которых в светском шуме не могла она так сильно и живо чувствовать, тронули ее душу в искренних разговорах тихого кабинета.

— Для чего, — сказала Юлия сквозь слезы, — для чего другие мужчины не подобны вам? Тогда

нежнейшая склонность нашего сердца не была бы для нас источником тоски и горести…

Арис воспользовался сею минутою, и Юлия не могла отказаться от руки его, с тем условием, чтобы оставить навсегда коварный свет, как она говорила, стараясь загладить в мыслях своих последние черты легкомысленного князя N*.

— Коварный свет, недостойный быть свидетелем нашего благополучия, любезный Арис! Презрим суетность его — он мне несносен — и удалимся в деревню!

— Все дни мои, — отвечал он с радостными слезами, — будут посвящены твоему удовольствию, несравненная Юлия! Я рад жить с тобою на краю мира; никогда, никогда не оскорблю тебя ни взором, ни упреком, ни жалобою. Воля твоя — мой закон! Ты делаешь меня счастливым: угадывать твои желания, исполнять их, зависеть от тебя совершенно есть священный долг моей благодарности!

Арис не обманет Юлии; а Юлия — увидим!

Первые шесть или семь недель протекли для них в деревне как шесть или семь веселых дней. Добродетельный супруг восхищался прелестною супругою всякий час, всякую минуту. Юлия была чувствительна к его нежности, и серд-

ца их сливались в тихих восторгах. Казалось, что сама природа брала участие в их радостях: она цвела тогда во всем пространстве садов своих. Везде благоухали ясмины и ландыши; везде пели соловьи и малиновки; везде курился фимиам любви, и все питало удовольствиями любовь наших супругов.

«Боже мой! — говорила Юлия. — Как могут люди жить в городе! Как могут они выезжать из деревни! Там шум и беспокойство; здесь чистое, невинное удовольствие. Там вечное принуждение; здесь покой и свобода. Ах, друг мой!.. (С умильным взором брала она Арисову руку и прижимала ее к своей груди…) Ах, друг мой! Только в одной сельской тишине, в одних объятиях натуры чувствительная душа может насладиться всею полнотою любви и нежности!»

В конце лета Юлия все еще хвалила сельскую жизнь, хотя и не с таким уже красноречием, не с таким жаром. Но за красным летом следует мрачная осень. Цветы и в поле и в саду увяли; зелень поблекла; листья слетели с деревьев; птички… бог знает куда девались — и все стало так печально, так уныло, что Юлия потеряла всю охоту хвалить деревенское уединение. Арис приметил, что она, смотря в окно, часто закрывала белым

платком алый свой ротик и что белый платок, как будто бы от веяния Зефира, поднимался на нем и опускался, то есть, сказать просто, Юлия зевала! Арис вздохнул, взял том «Новой Элоизы», развернул и прочитал несколько страниц… о блаженстве взаимной любви. Юлия перестала зевать, слушала и наконец сказала:

— Прекрасно! Только знаешь ли, мой друг? Мне кажется, что Руссо писал более по воображению, нежели по сердцу. Хорошо, если бы так было, но так ли бывает в самом деле? Удовольствие счастливой любви есть, конечно, первое в жизни, но может ли оно быть всегда равно живо, всегда наполнять душу? Может ли заменить все другие удовольствия? Может ли населить для нас пустыню? Ах! Сердце человеческое ненасытимо, оно хочет беспрестанно чего-нибудь нового: новых идей, новых впечатлений, которые, подобно утренней росе, освежают внутренние чувства его и дают им новую силу. Например, я думаю, что самая пылкая любовь может простыть в совершенном уединении; она имеет нужду в сравнениях, чтобы тем более чувствовать цену предмета своего.

Арис вздохнул и сказал:

— Я не так думал, но… мы завтра едем в город!

Юлия снова явилась в свете, и с новым блеском красоты своей, с богатством, с пышностию: довольно — свет принял ее с рукоплесканием, и розы со всех сторон посыпались на Юлию. Веселие за веселием, удовольствие за удовольствием — так, как и прежде, — с тою разницею, что замужняя женщина имеет еще более удобности наслаждаться всеми приятностями светской жизни.

Героиня наша хотела жить открытым домом, и по крайней мере четыре раза в неделю ужинало у нее тридцать или сорок человек. Арис молчал, делал все, что ей угодно было. Юлия чувствовала сию нежность и, оставаясь с ним наедине, награждала его за то восхитительными своими ласками. «Не правда ли, друг мой, — говорила она с прелестною улыбкою, — что городские забавы и разнообразие предметов еще более оживляют любовь нашу? Сердце мое, утомленное светским шумом, наслаждается покоем в твоих объятиях». Арис вздыхал так тихо, что Юлия не слыхала того.

Но однажды ввечеру Арис изменился в лице: между гостями, приехавшими к Юлии, увидел он князя N*! Сердце его затрепетало, однако ж через несколько минут сие невольное движение укро-

тилось. Разум сказал сердцу: «Молчи!» — и Арис подошел к князю с учтивым приветствием. Только во весь тот вечер боялся он пристально смотреть на Юлию, чтобы не привести ее в замешательство, чтобы она не перетолковала его взоров в худую сторону и не нашла в них какого-нибудь подозрения, беспокойства, неудовольствия.

После ужина, когда все разъехались, Юлия села на софу, взяла Ариста за руку и сказала ему с улыбкою:

— Ты видел, мой друг, с какою холодною учтивостию обходилась я с князем N*. Не принять его, отказать ему от дома было бы с моей стороны неблагоразумно. Пусть видит этот легкомысленный Нарцисс, что он мне ничего, что прошедшее заблуждение не оставило в душе моей никаких следов, что я не имею причины бояться сердца своего и что он не может привести меня в краску.

Арис… Арис поцеловал ее руку и отдал справедливость благоразумию супруги своей!

Через два дни опять ужин, и князь опять явился вместе с прочими гостями; был весел, забавен, говорил с хозяйкою более, нежели с кем-нибудь; о хозяине не думал, взглядывал на него почти

с презрением и вел себя как до́лжно модному человеку. Коротко сказать, он не пропускал случая быть у Юлии. «Как весело в ее доме!» — говорили мужчины и женщины. «Хозяйка любезна, как ангел», — говорили первые. «Милый князь разливает вокруг себя удовольствием», — говорили последние.

Между тем начались толки. Одни с усмешкою смотрели на Ариса, другие пожимали плечами. «Чему дивиться? — шептали друг другу на ухо. — Старая дружба! Теперь же и менее опасности. Муж тих, скромен — и все с концом!»

Арис не переменялся в рассуждении Юлии, но скоро увидел в ней перемену. Иногда она задумывалась, бледнела, хотела быть одна; через час лицо ее покрывалось нежнейшим румянцем, она бросалась в объятия супруга своего, целовала его с жаром, хотела что-то сказать и не говорила ни слова. Скромный Арис также молчал; иногда слезы катились из глаз его, но кто был их свидетелем? Тихое уединение, самая густая аллея в саду его, которая, после Юлии, сделалась ему всего милее. Арису казалось, что хладные тени ее с чувством прикасались к его сердцу и согревались его теплотою.

В один день, перед вечером, он приехал домой

и спешил в любимую свою аллею; входит и видит князя N*, сидящего на дерновом канапе подле Юлии, которая, опустив голову на плечо к нему, смотрела в землю. Он целовал ее руку и говорил: «Ты меня любишь, и я должен умереть в твоих объятиях! Юлия! Тебе ли иметь предрассуждения? Следуй влечению своего сердца, следуй…» Но Юлия услышала шорох, взглянула — и затрепетала… Пусть всякий вообразит себя на месте бедного Ариса!.. Что делать? Заколоть их одним кинжалом, утолить кровию жажду справедливого мщения, а потом… умертвить и самого себя?.. Нет! Арис сражался с собою не долее минуты; она была ужасна, но он усмирил кипящее сердце и скрылся! Человек, который видел его выходящим из аллеи, сказывал мне, что лицо его было бледно как полотно, что ноги его приметно дрожали, что из сердца его, как будто бы насильно, вырывался какой-то глухой стон, что он взглянул на небо и, вздохнув несколько раз сряду, вдруг пошел скорыми шагами. В тот же вечер принесли к Юлии следующее письмо:

«Я не нарушил данного слова, не оскорбил тебя ни жалобою, ни укоризною, надеялся на силу нежности и любви моей, обманулся и должен терпеть! После того что я видел и слышал… нам

нельзя жить вместе. Не хочу обременять тебя моим присутствием. Права супружества несносны, когда любовь не освящает их. Юлия, прости!.. Вы свободны! Забудьте, что у Вас был супруг, долго или никогда об нем не услышите! Океан разделит нас. Не будет у меня ни отечества, ни друзей; будет одно чувство для горести и меланхолии! В приложенном пакете найдете бумагу, по которой можете располагать моим имением; найдете еще портрет бывшей супруги моей… Нет, я возьму его с собою: буду говорить с ним как с тению умершего друга, как с единственным и последним милым предметом умирающего сердца!»

Надобно знать, что Юлия, увидев Ариса в аллее, несколько минут сидела безмолвно, потом бросилась вслед за ним, назвала его два раза именем… голос ее прервался, ноги подогнулись — она должна была опереться на плечо князю и едва могла дойти до дому. Там, не видя Ариса, упала на софу, закрыла лицо руками и не говорила ни слова. Тщетно приступал к ней услужливый князь; тщетно старался успокоить ее — она молчала.

Дрожащею рукою схватила Юлия письмо Арисово, прочитала его — и слезы в три ручья покатились из глаз ее. Князь хотел взять письмо…

— Постой! — сказала она твердым голосом. —

Ты не можешь его читать: оно писано добродетельным!.. Туман рассеялся — и я презираю себя!.. О женщины! Вы жалуетесь на коварство мужчин: ваше легкомыслие, ваше непостоянство служит им оправданием. Вы не чувствуете цены нежного, добродетельного сердца; хотите нравиться всему свету, гоняетесь за блестящими победами и бываете жертвою суетности своей[39]. Государь мой! Вы видите меня в последний раз. Обманывайте других женщин, смейтесь над слабыми, только прошу забыть, оставить меня навсегда. Я не обвиняю никого, кроме собственной безрассудности моей, в свете не будет вам недостатка в удовольствиях, но я гнушаюсь вами и всеми, подобными вам. Клянусь самой себе, что отныне дерзкий порок не осмелится взглянуть мне прямо в глаза. Дивитесь скорой перемене, верьте ей иль не верьте, для меня все одно, — сказала и, как молния, исчезла.

Князь стоял, подобно неподвижной статуе, наконец опомнился, засмеялся — искренно или притворно, оставим без решения, — сел в карету и поехал на спектакль.

---

[39] Notes: 39

«У места ли такая выходка? — скажет критик. — Может ли женщина в таком случае проповедовать мораль?» — «Может, — отвечаю ему, — может, может! А доказательство объявлю после». *Прим. авт.*

Юлия, узнав, что Арис уехал из Москвы неизвестно куда и только с одним камердинером, сама немедленно оставила город и удалилась в деревню. «Здесь протекут дни мои в безмолвном уединении, — сказала она со вздохом. — Сельский домик! Я могла, но не умела быть счастлива в тихих стенах твоих; я вышла из тебя с достойнейшим, нежнейшим супругом; возвращаюсь одна, бедною вдовою, но с сердцем, любящим добродетель. Она будет моим утешением, моим товарищем, моею подругою, я буду рассматривать, буду целовать образ ее в чертах незабвенного Ариса!» В сию минуту слезы ее капали на портрет его, который она в руках держала.

Надобно отдать справедливость вам, любезные женщины: когда вы на что-нибудь решитесь — не в минуту легкомыслия, не словом, но душою и с глубоким чувством истины, — твердость ваша бывает тогда удивительна, и славнейшие герои постоянства, которых до небес возносит история, должны разделить с вами лавры свои.

Юлия, которая на тоненький волосок была от того, чтобы сделаться новою Аспазиею, новою Лаисою, — Юлия сделалась вдруг ангелом непорочности. Все суетные желания замерли в ее сердце; она посвятила жизнь свою памяти

любезного супруга, воображала его стоящего перед собою, изливала перед ним свои чувства, говорила: «Ты меня оставил, ты имел право оставить меня, не смею желать твоего возвращения, желаю только спокойствия любезной душе твоей; желаю, чтобы ты забыл супругу свою, если образ ее мучит твое сердце. Будь счастлив, где бы ты ни был! Со мною милая тень твоя, со мною воспоминание любви твоей: я не умру с горести! Хочу жить, чтобы ты имел в свете нежного друга; может быть, посредством тайной симпатии сердце твое, невзирая на разлуку, на пространство, которое нас разделяет, согреется, оживится моею любовию; может быть, погруженному в тихий сон, веющий зефир скажет тебе: “Арис не один в мире” — откроешь милые глаза свои и вдалеке, в тумане увидишь горестную Юлию, которая следует за тобой своим духом, своим сердцем; может быть… Ах! Я против воли своей желаю… Нет, нет! Хочу обожать его без всякой надежды!»

В душе ее царствовало тихое уныние, более приятное, нежели мучительное. Добродетельные чувства не совместны с тоскою: самые горькие слезы раскаяния имеют в себе нечто сладкое. Прекрасна и заря добродетели, а что иное есть раскаяние?

Скоро Юлия узнала, что она беременна — новое, сильное чувство, которое потрясло ее!.. Радостное или печальное?.. Юлия несколько времени сама не могла разобрать идей своих. «Я буду матерью?.. Но кто возьмет на руки младенца с нежною улыбкою? Кто обольет его слезами любви и радости? Кому скажу я: вот сын наш! вот дочь наша! Несчастный младенец! Ты родишься сиротою, и образ горести будет первым предметом открывающихся глаз твоих!.. Но… так угодно провидению. Новая обязанность жить и терпеть без роптания! Родись, милый младенец! Сердце мое будет тебе отцом и матерью. Я утешусь для тебя и тобою: не оскорблю нежной души твоей ни горестными вздохами, ни мрачным видом! Одна любовь ожидает тебя в моих объятиях, и час твоего рождения обновит жизнь мою!»

Юлия хотела приготовить себя к священному званию матери. «Эмиль» — книга единственная в своем роде[40] — не выходила из рук ее. «Я не умела быть добродетельною супругою, — говорила она со вздохом, — по крайней мере буду хорошею матерью и небрежение одного долгу

[40] Notes: 40

Педагогический трактат Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1761), в котором автор отстаивает педагогические принципы, опирающиеся на законы природы.

заглажу верным исполнением другого!»

Она считала дни и минуты, пристрастилась заранее к милому младенцу, еще невидимому, заранее целовала его в мыслях своих, называла всеми нежными именами, и всякое его движение было для нее движением радости.

Он родился — сын — прекраснейший младенец, соединенный образ отца и матери. Юлия не чувствовала болезни, не чувствовала слабости: им, им только занималась, им дышала; плакала — улыбалась, чтобы заставить его улыбнуться, и сердце ее, вкусив сладкие чувства матери, открыло в себе новый источник радостей, чистейших, святых, неописанных радостей. Не уставали глаза ее, смотря на младенца, не уставал язык ее, называя его тысячу раз любезным, милым сыном! Огнем любви своей согревала она юную душу его, наблюдала ее начальные действия, от первой слезы до первой его усмешки, и вливала в него нежными взорами собственную свою чувствительность. Нужно ли сказывать, что она сама была кормилицею своего сына?

Юлии казалось, что все предметы вокруг нее переменились и сделались ласковее. Прежде она не выходила почти из комнаты своей; открытое небо, пространство, необозримые равнины

питали в ее душе горестную идею одиночества. «Что я в неизмеримой области творения?» — спрашивала она у самой себя и погружалась в задумчивость. Шум реки и леса увеличивал ее меланхолию, веселье летающих птичек было чуждо ее сердцу. Теперь Юлия спешит показывать маленького любимца твоего всей натуре. Ей кажется, что солнце светит на него светлее, что каждое дерево наклоняется обнять его, что ручеек ласкает его своим журчанием, что птички и бабочки для его забавы порхают и резвятся. «Я мать», — думает она и смелыми шагами идет по лугу.

Удовольствия, которых Юлия искала некогда в свете, казались ей теперь ничтожным, обманчивым призраком в сравнении с существенным, питательным наслаждением матери. Ах! Она была бы совершенно счастлива, если бы мысль о горестном Арисе не тревожила ее сердце. «Я проливаю радостные слезы, — говорила она самой себе, — я наслаждаюсь в то время, когда он в горестном уединении скитается по свету, упрекая себя любовию к недостойной супруге! Какой ангел известит его о перемене моего сердца? Юлия могла бы… так в присутствии самого неба осмелюсь сказать, что Юлия могла бы те-

перь загладить перед ним вину свою!.. Но он не знает, он изображает меня в объятиях порока, воображает меня мертвою для всех чувств добродетели!.. Пусть он возвратится хотя на минуту; хотя для того, чтобы видеть нашего сына! Пусть он, сказав: „Ты недостойна им веселиться", возьмет его у меня! Я рада лишиться всех утешений, чтобы утешить оскорбленного супруга моего… рада быть несчастлива для его благополучия! А он будет счастлив с ангелом красоты и невинности, забудет все печали!»

Между тем маленький Эраст расцветал, как розан; он мог уже бегать по лугу; мог говорить Юлии: «Люблю тебя, маменька!», мог ласкать ее с чувством и нежными ручонками отирать приятные слезы, которые часто лились из глаз ее.

Однажды весною — время, которое всегда напоминало Юлии первую весну замужества ее, — она пошла гулять с маленьким своим Эрастом, села на цветущем пригорке близ дороги и — между тем как младенец резвился и прыгал вокруг ее — сняла с груди своей портрет Арисов и рассматривала его с умилением. «Таков ли он теперь? — думала Юлия. — Ах нет! Черты его, конечно, переменились. Когда живописец изображал их, он сидел против меня, смотрел

на меня с любовью, был весел и счастлив! А теперь… теперь…» Взор Юлиин помрачился. Она задумалась, и легкий сон закрыл на минуту глаза ее. Беспокойная душа видит и мечты беспокойные[41]: Юлии представилось во сне необозримое море, которое шумело и пенилось под черными тучами; излучистые молнии сверкали во мраке, страшные громы гремели, и ужас носился всюду на крыльях бури. Вдруг показывается корабль, игралище, жертва волн разъяренных, — исчезает в пропастях кипящей влаги и снова является, чтобы навсегда погрузиться в бездну… Злополучные мореплаватели!.. Юлия, сидя на кремнистой скале, видит гибель их и страдает в чувствительном сердце своем. Сильный вал несется к берегу, выбрасывает на песок человека и удаляется. Юлия спешит к несчастному, хочет оживить его и узнаёт в нем Ариса, хладного, мертвого. Она трепещет, пробуждается… и видит Ариса наяву; он — в ее объятиях, и навеки! («Откуда взялся Арис?» — спросят любопытные. Он несколько лет странствовал по чужим землям. Верный друг, оставленный им в Москве, уведомлял его о Юлии.

---

[41] Notes: 41

Ужасный сон бывает перед счастливым событием, говорит гишпанская пословица. Я воспользовался ею для окончания моей повести. *Прим. авт.*

Наконец, уверившись в ее добродетели, летел он к обожаемой супруге сказать ей: «Я не переставал обожать тебя!»)

Я знаю слабость пера своего и для того не скажу более ни слова о сей редкой сцене, ни слова о первых восклицаниях, непосредственно вылетевших из глубины сердца; ни слова о красноречивом безмолвии первых минут, ни слова о слезах радости и блаженства!.. Чтобы живее представить себе картину, читатель вообразит еще маленького Эраста, которого Юлия взяла на руки и подала Арису. Младенец, наученный природою, ласкал отца своего и смотрел с улыбкою на Юлию.

Уже три года живут они в деревне, живут как нежнейшие любовники, и свет для них не существует. Арис не переменился: он всегда был деятельным мудрецом. Но Юлия примером своим доказала, что легкомыслие молодой женщины может быть иногда покрывалом, или завесою, величайших добродетелей.

Нежность Арисова так далеко простирается, что он не позволяет Юлии описывать черными красками прежнего ее ветреного характера. «Ты рождена быть добродетельною, — говорит Арис, — нескромное желание нравиться — плод безрассудного воспитания и худых примеров —

произвели минутные твои заблуждения. Тебе надлежало только один раз почувствовать цену истинной любви, цену добродетели, чтобы исправиться и возненавидеть порок. Ты удивляешься, друг мой, для чего я молчал и не хотел говорить тебе о следствиях ветрености твоей: я был уверен, что укоризны могут скорее ожесточить сердце, нежели тронуть его чувствительность. Нежное терпение со стороны мужа есть в таком случае самое действенное средство. Выговоры, упреки заставили бы тебя думать, что я ревнив; ты почла бы себя оскорбленною, и сердца наши могли бы навсегда удалиться друг от друга. Следствие доказало справедливость моей системы. Разлука казалась мне последним способом, который до́лжно было употребить мне для твоего исправления. Я оставил тебя на суд собственного твоего сердца, — признаюсь, не хладнокровно, не без мучительной горести, но ведь луч надежды питал и не обманул меня! Ты моя совершенно и навеки!»

Иногда Юлия вооружается против женщин, Арис их защитник. «Поверь мне, друг мой, — говорит он, — поверь, что порочные женщины бывают от порочных мужчин: первые для того дурны, что последние не сто́ят лучших».

Арис и Юлия могут не соглашаться в разных мнениях; но в том они согласны, что удовольствие счастливых супругов и родителей есть первое из всех земных удовольствий.

Над книгой работали



Руководитель редакционной группы *Анна Золотухина*

Ответственные редакторы *Ксения Баранова, Дарья Облинова*

Арт-директор *Наталья Олтаржевская*

Иллюстрация на обложке *Анастасия Корво*

Иллюстрация на титуле *Selcha Uni*

Леттеринг *Антон Героев*

Техническая корректура *Лилия Семухина, Юлия Молокова*

ООО «МИФ»

mann-ivanov-ferber.ru